

И
И

Дорога к замку

Современная
японская
новелла

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Дорога к замку

丸山健二

Кэндзи Маруяма

井上靖

Ясуми Иноуэ

渡辺淳一

Дзюньити Ватанабе

高橋たか子

Такако Такахаси

大岡昇平

Сехэй Оока

生島治郎

Дзиро Икусима

中村眞一郎

Синъитиро Накамура



И
Л

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

中村眞一郎

生島治郎

大岡昇平

高橋たか子

渡辺淳一

井上靖

丸山健二

Дорога к замку

Современная
японская
новелла

*Перевод с японского
и составление
Г. Чхаргишвили*

*Предисловие
Н. Т. Федоренко*

Москва
«Известия»
1987

И (Яп)
Д 69

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент А. Виноградов

Обложка художника С. Мухина

© Оформление, составление, предисловие,
перевод на русский язык издательство
«Известия», журнал «Иностранная лите-
ратура», 1987

Навстречу судьбе

Предлагаемый читателю сборник включает девять рассказов современных писателей Японии, широко известных в своей стране и за рубежом. Его составителем предпринимается достойная попытка представить различные направления и стили послевоенной японской прозы, хотя отбор произведений, мы хорошо это знаем, из их необъятного множества всегда сопряжен с субъективностью взгляда. Мудрые люди, однако, считают, что никогда не требуется строгой законченности, если она ведет к высокой цели. Справедливый судья здесь — сам читатель, который вправе вынести свое окончательное суждение. Произведения сборника, с нашей точки зрения, представляют значительный этап развития послевоенной японской прозы.

Сборник выходит под названием «Дорога к замку». И тотчас возникает вопрос: почему небольшой по объему рассказ, грустный, пожалуй даже мрачный, дал имя сборнику разных по стилю, манере и авторской интонации произведений?

Нет нужды доказывать, что название нашего сборника могло быть иным. Нередко выбор названия происходит вообще случайно, без особых на то причин. Но бывает и так, что какое-то одно из отобранных произведений привлекает нас всего более какой-то своеобычностью, несказанным настроением. В искусстве Синъитиро Накамура (род. в 1918 г.), автора рассказа «Дорога к замку», есть некая тайна, а это редкая и крайне существенная черта художественного творчества.

Описывая поиски некоего призрачного замка, которые поглощают целую жизнь японской семьи, Синъитиро Накамура прибегает к воспоминаниям собственного детства, воссоздает ощущение давно минувшей поры, вновь переживает раннюю потерю родителей. Перед нами художник,

устремленный к глубинам человеческой души. Только крупным мастерам дано так, не отступая от правды, открывать невидимые грани образа, те чувства, которые не могут нас не волновать. Только подлинное искусство способно иллюстрировать загадочность человеческого сознания и памяти, порой противоречивых и противоборствующих. И потому переживания героев здесь выходят за пределы собственного опыта автора, приобретая широкое общечеловеческое значение.

Образ замка воспринимается как аллегория счастья, жизненной цели — достижимой и недостижимой. Но главное — это совершаемый человеком путь, который, по сути дела, и есть сама жизнь. Людям свойственно мечтать, вынашивать надежды. Они всегда как бы накануне исполнения своих ожиданий. У одних вчерашняя мечта сегодня становится надеждой, а завтра — реальностью, другим достаются одни ожидания. До самой смерти, до конца земного существования. Они уходят из жизни вместе со своей мечтой. Не расстаются с ней, не утрачивают ее. И пока у них есть надежда, они живы.

А смысл жизни — в стремлении к желанной цели, когда идущий обращен лицом вперед, высматривая свой замок, существующий нередко лишь в его собственном воображении. Именно это ощущение постоянного поиска, устремленности к мечте характерно и для других произведений, включенных в настоящий сборник. И хотя у каждого из семи представляемых авторов своя дорога в жизни и литературе, свой личный опыт, общее у них — смысл творческих исканий, стремление к постижению истинной сути человеческого бытия.

Синъитиро Накамура принадлежит к писателям так называемой «послевоенной группы» («сэнгоха»), для творчества которой характерны мотивы разочарования в идеалах прошлого, связанного с поражением, жестокостями, неустроенностью человеческого существования. Его перу принадлежат романы «Под сенью смерти» (1946), «Дочери

Сиона» (1948), «Бог любви и смерти» (1950), сборник пьес, стихотворений и литературоведческих эссе. На русском языке были изданы его повесть «Далекое прошлое» и рассказ «Оживший страх» в сборнике «Японская новелла 1960—1970 годов». Синъитиро Накамура иногда причисляют к сторонникам «западного» направления в японской литературе. Сравнения всегда относительны. Подобно риторическим эксцессам абстрактного искусства. Известно, что некоторые художники-модернисты создают свои картины как бы по образу и подобию иероглифов. Им кажется, что они тоже умеют рисовать иероглифические письмена и даже вкладывать в них смысл. Но вскоре они сами не могут прочесть их и расшифровать. Изображение есть, но значение объяснить не может никто, в том числе и сами авторы. Часто критики оценивают произведения искусства с позиций известных художников, преимущественно европейских. Но подходить к другим искусствам с мерой Микеланджело не всегда оправданно и даже рискованно. Настоящее мастерство всегда неповторимо. Даже Страдивари делал свои скрипки каждый раз особенно — все созданные им инструменты отличаются звучанием, тембром, обладают своей индивидуальностью. Известно, что на творчество Синъитиро Накамура известное влияние оказал психологический метод Марселя Пруста, но по оригинальности своего стиля японский писатель остается художником самобытным и глубоко национальным.

Характерно это и для творчества Ясуси Иноуэ (род. в 1907 г.), талантливого продолжателя традиций японской классической прозы и едва ли не самого известного из живущих ныне прозаиков страны. Член Академии искусств, он начал печататься с 1930 года. Лауреат премии Акутагава, автор многих романов, в том числе «Черная бабочка» (1956), «Ледяная стена» (1960), «Ископаемое» (1966), повестей, рассказов, которые входят в собрание его сочинений в 32-х томах. На русский язык переведен его исторический роман «Сны о России», главы из которого печат-

тались в журнале «Иностранная литература» (1974), а также новеллы и рассказы.

Рассказ «Потоп» относится ко времени увлечения Ясуси Иноуэ китайской и монгольской историей, когда им был создан цикл произведений о Западном Крае. Великий подвижник, Ясуси Иноуэ всегда в творческих поисках, умеет открывать новое даже в старинных сюжетах, смело следуя неизведанным путем. Он как бы говорит нам: прошлое, осмысленное и освоенное настоящим, способно пролить свет на будущее. В прошлом писателя всегда интересует «живая старина», то есть то из минувшего, что сохраняет самобытную свою ценность, воздействуя на современность, обуславливает будущее народа, его культуру, его духовную жизнь. Во время одной из наших токийских встреч Ясуси Иноуэ рассказал, что после длительного перерыва он вновь обратился к теме китайской старины. Писатель поделился со мной своим творческим замыслом — создать книгу о духовном мире конфуцианства, о гуманизме и просветительской роли великого мудреца древнего Китая — Конфуция.

На мое замечание, что тема эта столь же привлекательна, сколь и сложна, ибо нам очень немного известно о той глубокой старине, когда жил Конфуций, недостает многих реалий и подробностей быта, Ясуси Иноуэ тотчас ответил, что это не может служить ему помехой. Не слишком ли иные писатели, продолжал он, злоупотребляют деталями, стремясь не оставить ничего недосказанного? Попытка исчерпать все подробности действует утомляюще и оскорбительно на способного тонко чувствовать человека. Ведь речь идет о художественном исследовании времени и человека с позиций современника, а не об учебнике древней истории.

Ясуси Иноуэ — художник самобытный, мастер психологических зарисовок. Лучшие образцы его произведений раскрывают нам утонченность души, изысканность облика, которые отличают его героев, притом что они часто

наделены трагической судьбой. Во имя такого искусства слова — возвышающего, очищающего человека, помогающего ему выдерживать испытания — и существует литература.

Всего лишь несколько строк из древнего китайского канона «Шуцзин» («Книга истории») о военачальнике по имени Со Май вдохновили Ясуси Иноуэ на создание прекрасной легенды-притчи. Перед ее героем дважды возникал выбор между слабостью и силой, эгоизмом и любовью, предательством и верностью. Первый раз полководец победил во внутренней борьбе с самим собой, во второй — проиграл, и тотчас наступило возмездие.

Искусство слова этого писателя завораживает своей красотой, нескончаемо льющейся мелодией, трепетной, одухотворенной жизнью с бесконечным количеством тончайших нюансов. Произведения Ясуси Иноуэ уносят нас в дальние дали, в мир мечтаний, гармонии, прекрасного.

Рассказ совершенно иного плана — «Засада» — принадлежит писателю старшего поколения Сёхэй Оока (род. в 1909 г.), в годы второй мировой войны служившему в японских оккупационных войсках на Филиппинах. Он сражался с высадившимися там американцами, был в плену. Пережитое в те годы оказало воздействие на весь творческий путь писателя. Военная тема стала его доминантой. Подлинное произведение искусства, художественные откровения — все это не сразу рождается в душе писателя, вынашивается годами, прежде чем увидеть свет. Роман «Огни в поле», посвященный описанию боев на Филиппинах, считается самым значительным произведением Сёхэй Оока. Ему принадлежат и такие романы и повести, как цикл «Записки пленника», «Кислород», «Госпожа Мусасино», «Тэнсюгуми», «Сёмонки», а также автобиографические повести «Детство» и «Отрочество».

В рассказе «Засада» описывается небольшой эпизод — смерть японского солдата, подстреленного партизанами. Автору удалось добиться яркого художественного обобщения

ния, через одну человеческую судьбу отобразив трагедию миллионов людей. Художественная мысль, стремясь стать вровень с трагическим материалом реальности, находит главную для себя работу в его глубине.

«Да здравствует император!» — выкрикивает смертельно раненный рядовой первого разряда Кобаяси, и в этом символически отражено отчаяние всего японского народа, одурманенного монархическим угаром и брошенного в пучину агрессивной войны, чуждой его интересам. Искусство слова есть память народная, и из этой памяти, как из песни, слова не выкинешь. Мы видим, что, обращаясь к опыту недавнего прошлого, японские художники слова стремятся не потерять линию горизонта в перекошенном и сдвинутом с привычных опор мире. Рассказ, написанный на основе личного опыта автора, имеет резко выраженную антивоенную направленность.

Трагической теме смерти посвящены две новеллы — «Течение лета» и «В снегах» — наиболее молодого из авторов нашего сборника, Кэндзи Маруяма (род. в 1943 г.). Он вошел в литературу в 1966 году, когда ему было двадцать три года, написав новеллу «Течение лета». В ней затронута многосложная проблема: как надлежит поступить с теми, кто преступил последнюю черту, нарушил главный из человеческих законов? Должно ли общество предавать таких людей казни? Действие разворачивается в отделении смертников. Выразителями двух противоположных точек зрения являются двое из тюремных охранников — Сасаки и Накагава. В свое время это небольшое произведение вызвало бурный отклик у читателей и критики, оно было отмечено премией Акутагава, и с тех пор в японскую литературу вошел новый и интересный автор, ныне впервые представляемый советскому читателю.

Кэндзи Маруяма принадлежат также повести «Полдень» (1969), «Дыра и море» (1969), «Завтрашний рай» (1969), «Дом, освещенный солнцем» (1971), сборники рассказов

и эссе, романы «Умереть в расцвете» (1982) и «Горная чайка» (1983).

В рассказе «В снегах» описывается восприятие мальчиком смерти близкого человека — бабушки. Плачет мать, плачут родственники, но трагизм происшедшего не осознается ребенком — он слишком увлечен интересным и многообразным миром, который только начинает познавать. Необратимость ухода человека из жизни ему еще непонятна. Будут и другие утраты, но эта первая потеря, сейчас не осознанная мальчиком, отложится в его памяти навсегда.

Важная отличительная черта стиля Маруяма — достоверность в передаче тончайших нюансов человеческой психологии, идет ли речь о взрослом или о ребенке или об описаниях природы и жизненных ситуаций. Отличает этого писателя и подлинный гуманизм, боль за человека. Особенно остро эта тема звучит в рассказе «Наш выходной» — о воскресном дне четырех молодых людей, приехавших из деревни на заработки в большой город. Сами по себе они — ни хорошие, ни плохие. Но могут быть и хорошими, и плохими. И дерзкими, и смиренными. Могут заботиться о заболевшем товарище — и допускать хулиганские выходки, честно зарабатывать на жизнь — и стасить то, что плохо лежит. Герои Кэндзи Маруяма отдают себе отчет в своем поведении, способны объяснить и даже мотивировать свои поступки, но это не меняет сути вещей. Они бессильны что-либо сделать, изменить собственный образ жизни и поведение. Трагедия их — бездуховность. И некому вложить в эти души «разумное, доброе, вечное». «Так всю жизнь и прожить? Но ведь надо что-то с этим делать!» — говорит один из героев рассказа. Другой же обреченно отвечает ему: «Ничего ты не сделаешь». Бездуховность — трагедия не только молодого поколения, но всего современного буржуазного общества. В этом социальный смысл рассказа «Наш выходной».

Примечательным, с нашей точки зрения, является твор-

чество Дзюньити Ватанабэ (род. в 1933 г.). Как и многие известные писатели разных стран, он пришел в литературу из медицины. Уж не существует ли нечто взаимосоединяющее врачевание тела с литературой, задача которой — лечить человеческую душу? Жанр записок врача неизменно пользуется популярностью у японского читателя. И, конечно, не только японского.

С 1968 года Дзюньити Ватанабэ живет литературным трудом. Лауреат премии Аока, он является автором повестей «Сияние и тьма» (1970), «Двойное сердце» (1971), «Снежный вихрь» (1973), сборников рассказов, романов «Бестеневая лампа» (1976), «Божественный закат» (1981) и других. На русском языке издан роман «Бестеневая лампа».

Проблема человеческого страдания, сражение за спасение души человеческой никого не могут оставить равнодушным. И рассказ Дзюньити Ватанабэ, включенный в наш сборник, представляет собой образец современной японской прозы. «Фонендоскоп» — это одновременно комичное и грустное повествование о начале врачебной карьеры молодого хирурга. Подобно другим произведениям Ватанабэ, смысловой акцент, авторская интонация — в заключительных строках, которые придают развлекательной манере повествования серьезность и значительность.

Следует сказать также о довольно распространенном направлении в современной японской литературе, которое в той или иной мере соединяет в себе черты национальной традиционной лирической повести с влиянием идей экзистенциализма. В нашем сборнике направление это представлено рассказом «Любовь к кукле» современной писательницы Такако Такахаси (род. в 1932 г.). Можно, пожалуй, сказать, что это произведение с двойным дном. По крайней мере, воспринимается оно двойко. На первый взгляд, это произведение сюрреалистическое: видения, превращение сна в реальность, таинственная связь с иной, нереализованной жизнью героини. Постепенно, однако, замысел автора становится все более явственным. В сущ-

ности, ничего сверхъестественного в рассказе не происходит. В действительности героиня, испытавшая потрясение в связи с самоубийством мужа, все более погружается в бездну безумия, все дальше отрывается от мира реальности, спасаясь в мире иллюзий, где есть все то, чего нет и, верно, уже не будет в земном ее существовании. Не будет тихого домика с кустами алых роз, нежной любви, счастливого семейного уюта. Но, как это часто происходит в литературе и жизни, круг иллюзий замыкается, воображаемое сливается с действительным. Иными словами, реальность неотвратима. Лишь она и есть правда.

Рассказ «Таксист» создан одним из наиболее читаемых современных писателей, Дзиро Икусима (род. в 1939 г.), лауреатом премии Аока. Его перу принадлежат сборники рассказов и повести «Израненный город» (1964), «Преследование» (1970), «Обрывки зла» (1983), роман «Желтые пороги» (1967). На русский язык этот автор переводится впервые.

Популярность произведений Икусима объясняется тем, что в них сочетаются занимательность сюжета, неожиданные повороты фабулы с постановкой социальных проблем, близких каждому японцу. «Таксист» — характерное для Икусима произведение, в котором, развлекая читателя, автор одновременно заостряет его внимание на больших вопросах японского общества. В данном случае это судьба людей старшего поколения, получающих в Японии мизерную пенсию либо выходное пособие, быстро поглощаемое инфляцией. Рёскэ Ханай стал похитителем такси отнюдь не от скуки и безделья — надо оплачивать обучение в колледже единственной и любимой дочери. Но дело не только в этом: он — «таксист до мозга костей» и уже не может жить без этой работы, с которой его, еще здорового и вполне трудоспособного, заставили уйти, «чтобы не создавать прецедента» для других стариков.

Рассказ — нужно ли об этом говорить — жанр трудный, сжатость формы предъявляет повышенные требования

к глубине содержания. В японской литературе рассказ пользуется особыми правами, особым уважением. Ведь он дает писателю возможность добиваться высоко ценимого японским искусством эффекта образов и идей при удивительной лаконичности, когда нет ничего лишнего, декоративного, когда остается только самое существенное.

Семь имен, включенных в сборник,— это семь художественных методов, семь творческих судеб, стилей, направлений. Словом, семь дорог, на которых каждый из писателей ищет свой заветный Замок.

Н. Т. Федоренко

Кэндзи Маруяма

Течение лета

Наш выходной

В снегах

丸山健二

Течение лета

I

Было всего пять утра, но лучи яркого летнего солнца уже проникали в щель между шторами. Я натянул одеяло на лицо. Ночная прохлада исчезла без следа, день опять обещал быть жарким. Решив, что пора вставать, я отшвырнул ногами одеяло и откинул полог противомоскитной сетки ядовито-зеленого цвета. Протянул руку за сигаретами. В лучах утреннего солнца табачный дым казался фиолетовым. От первой затяжки натошак закружилась голова.

Было слышно, как носятся по дому сыновья. Жена уже встала и чем-то гремела на кухне.

— Проснулся? — прокричала она оттуда.

— Угу, — ответил я не сразу. Дети с топотом ворвались за полог кровати. Старший, которому недавно исполнилось семь, уцепился мне за шею. Второго, пятилетнего, я посадил к себе на колени и стал подбрасывать вверх.

Жена сказала, входя в комнату:

— Перестаньте возиться, сетку порвете.

Она отодвинула сетку, застелила кровать и широко распахнула стеклянную дверь. Мы с сыновьями уселись на подоконник и выглянули наружу. Небо было ярко-синим и почти безоблачным. Океан, видневшийся между тюремной стеной и подножием горы, спокойно катил белые волны. В одноэтажных коттеджах, где жили семьи служащих тюрьмы, все уже встало. Утренний воздух звенел от стрекота цикад.

— Опять жара будет, — сказал я.

— Конечно, — ответила жена, вытирая пыль, — лето же.

Это лето было необычайно жарким, дождя не выпадало уже много дней. Все вокруг высохло, и я подумал о предстоящем дне со вздохом.

Сыновья побежали в прихожую за газетами. Жена, закончив уборку, раздвинула складной стол и занялась приготовлением завтрака. Я посмотрел на ее живот. Он стал заметно больше. Потом отправился на кухню чистить зубы. За ночь вода в трубах остыла, и умываться было приятно. Дети прибежали следом. Заметив, что я смотрюсь в узкое настенное зеркало, они засмеялись. Я состроил рожу, и они опять радостно загоготали.

Весь завтрак жена только возилась с детьми.

— Не можешь есть? — спросил я ее.

— Утром — никак.

— Все-таки съела бы что-нибудь.

— Когда родишь? — спросил один из сынишек, оторвавшись от чашки чая. Это было так неожиданно, что мы с женой рассмеялись.

— Через три месяца, когда снег выпадет.

— Хорошо бы девчонку, — сказал старший сын.

— Да, неплохо бы. — Жена взглянула на меня. — Ты как думаешь?

— Чего говорить без толку.

— Да я просто так... Ты, конечно, хочешь мальчика.

— Ага, — ответил я, — мальчика. Возни меньше.

— Так есть уже двое. Хочу теперь дочку... Ты слушаешь?

— Слушаю.

— У вас кто-нибудь новый? — спросила жена, заглядывая мне через плечо в газету. Дети тоже стали рассматривать фотографии.

— Никого. — Я сложил газету.

— А как там тот, которого привезли в прошлый раз? — опять спросила жена.

— Кто это?

— Ну, который убил мать с ребенком. Здоровый такой.

— А, этот! Тихо сидит.

— Да? Значит, все ему как с гуся вода. Ведь ребенка же убил, негодяй!

— Так-то оно так.

— Не человек он!

— Человек, человек. Ну ладно, я пошел.

Мне стало скучно ее слушать, и я встал из-за стола. Из тюрьмы донесся вой сирены, извещающий о подъеме. Дети выбежали во двор.

Я открыл шкаф, надел светло-коричневую форменную рубашку и завязал галстук. Рубашка пропахла потом — я надевал ее второй день подряд. Жена сняла с вешалки брюки и слегка прошлась по ним щеткой.

— Фуражку надень, — напомнила она.

— Только не сейчас. Мне и так в ней целый день торчать.

Я вышел в прихожую и надел башмаки. Жена сложила большой белый платок и засунула мне его в задний карман.

— Счастливо, — сказала она.

— Угу. Ты себя нормально чувствуешь?

— Все хорошо.

— Если что — иди к врачу.

— Да знаю я, знаю. Не в первый раз.

Когда я вышел из дома, в переулке на меня налетели сыновья и вцепились в обе руки.

— Только до угла! — крикнула сзади жена.

Детишки, повиснув у меня на руках, болтали ногами, и от немощеной дороги поднимались клубы пыли.

— Когда на рыбалку возьмешь? — спросил старший, глядя на меня снизу вверх.

— Скоро.

— Когда «скоро»?

— Когда в школу пойдешь.

— Тогда на море, ладно?

— На море, на море, — подхватил второй.

— Ладно, на море пойдём.

— Когда?

— Через выходной.

— А почему в следующий нельзя?

— Иду на рыбалку. Ну, сыпьте назад. Дальше я один.

— Еще, еще!

— Нельзя, бегите домой.

Мы вышли на широкую заасфальтированную улицу. Машин еще не было.

— Смотрите не уходите далеко от дома.

— Ага.— И мальчишки побежали назад, к новым играм. Я надел фуражку и зашагал по широкой дороге, которая вела к тюремным воротам. На асфальте отпечатались следы шин и ног, но пока он еще был твердым.

С моря задул ветерок. Рядом с дорогой, там, где шло строительство административного здания, присели покурить плотники. Когда я приблизился, они замолчали и не произнесли ни слова до тех пор, пока я не прошел мимо. Я спиной чувствовал их взгляды.

Дорога кончилась. Передо мной были высокие стены и широкие кирпичные опоры ворот. В одной из опор была устроена проходная. Из-за стены доносился треск цикад. Красные от ржавчины ворота были закрыты. Поверхность грязной, застоявшейся воды во рву, расцвеченная масляными пятнами, беспрерывно вздувалась пузырьками поднимающегося со дна газа.

Я прошел по подъемному железному мостику и поздоровался с охранником:

— Привет.

— Здравствуйте. Опять жара будет,— лениво ответил толстый охранник. Он открыл мне дверь, и я вошел внутрь. Здесь был совсем иной мир. Деревья криптомерий образовывали целую рощу, оттуда и звенели цикады. Впрочем, в отличие от обычной рощи здесь не было ни подлеска, ни какой-либо иной растительности, и стволы просматривались до самой земли. Я пошел дальше по старой, мощенной кирпичом дорожке. Людских голосов не было слышно, навстречу мне никто не попался. Дорожка поднялась на невысокий холм и спустилась вниз — там, за деревьями, белели высокие бетонные стены. Я вышел на спортплощадку. Она была ухоженной, приятно зеленел широкий газон.

Со всех сторон площадку окружали насыпи, и видно было лишь небо над головой и траву под ногами.

Как всегда срезая путь, я направился прямо по газону к крайнему зданию. Я дошел уже до середины площадки, когда из прорытого в одной из насыпей прохода показалась группа заключенных обычного режима, человек пятьдесят. Недавно обритые головы отливали белизной. Все были в майках и закатанных до колен штанах, в руках мокрое, только что отстиранное белье.

Раздался короткий свисток охранника. Следуя ему, заключенные, как муравьи, рассыпались по газону и стали раскладывать белье на траве. Ветер никогда не проникал в котловину, поэтому можно было не опасаться, что белье разлетится. Четверть газона стала белой от разложенного белья. Заключенные снова построились и по свистку отправились той же дорогой работать в поле.

Когда я наконец пересек площадку, у меня по лицу и по спине уже стекали струйки пота. Поднявшись по каменным ступеням, я вышел к кирпичному зданию, обведенному двойной чертой розового цвета. Здесь были расположены камеры смертников. Вокруг не росло ни одного дерева и ни одной травинки. Дежурные охранники по очереди подметали белый песчаный плац два раза в день — утром и вечером. Тут же находились караульное помещение и смотровая вышка, покрашенная коричневой антикоррозийной краской. На вышке никого не было, там стояли зачехленный проектор и четыре динамика.

В караулке сидел незнакомый мне молодой охранник. Здесь было тесно, крыша не спасала от солнечных лучей, отражаемых белым песком. Увидев меня, охранник спрятал поглубже носовой платок, подложенный под фуражку, и отсалютовал мне:

- Доброе утро.
- Ну и жара!
- Так точно, жарко.
- Тебя во сколько сменяют?

- В три.
- Самое пекло.
- Да.
- И всегда ты в эту смену?
- Так точно.
- М-да, нелегко тебе приходится.
- Служба есть служба.
- Я скажу, чтобы тебе вентилятор поставили.
- Спасибо, очень выручите.
- А где-нибудь сейчас, наверное, идет снег...
- Что вы сказали?
- Нет, ничего. Ты вытирайся платком-то.
- Спасибо.

Я прошел по раскаленному песку к единственному входу в здание — маленькой железной двери — и нажал на кнопку звонка. Через некоторое время открылось зарешеченное оконце, в нем показалось чье-то потное лицо. Оконце тут же закрылось, послышалось звяканье ключей, и дверь отворилась. В дверном проеме стоял Хорибэ.

Закрыв за мной дверь и вынув из скважины ключ, он весело сказал: «Привет». У Хорибэ всегда хорошее настроение.

— Ну и жара! — сказал я.

— Да? А внутри ничего, — ответил он, оглядев меня. Я вытащил из кармана брюк платок, снял фуражку и вытер пот с лица.

По темному коридору мы прошли в помещение для охранников. Мне нравилась эта комната, чистая и прохладная.

Здесь никого не было — все на дежурстве. Плотные зеленые шторы защищали комнату от солнечных лучей, под потолком мягко шуршал новый вентилятор.

— Хочешь ячменного чаю? — спросил Хорибэ.

Я взглянул на стол.

— Остался от ночной смены, — пояснил он.

— Давай.

— Жаль только, льда нет.

Хорибэ взял со стола, покрытого голубой клеенкой, термос и налил мне чашку чая. Я залпом проглотил теплый горьковатый напиток. Хорибэ налил мне еще и сам тоже выпил.

— Давай в следующий раз поднимемся повыше,— сказал он.

— Ты о чем?

— О рыбалке, ясное дело. О чем нам с тобой еще разговаривать?

— На нынешнем месте нормально клюет.

Я поставил недопитый чай на стол и сел на диван.

— Так-то оно так, да только ловится мелочь всякая, неинтересно. Даром что много.

— Ты что сделал с прошлым уловом?

— Половину съел, остальное — в холодильник.

Хорибэ тоже уселся на диван напротив меня.

— Испортится быстро. Лето ведь.

— Уже начало. Если б были дети, как у тебя.

— Да ну их, надоели до смерти.

— Ничего, это хорошо, когда надоедают. Скоро прибавление в семействе?

— Да-а, третий ребенок...

— Завидую. Подари хоть одного,— засмеялся Хорибэ.

— У тебя еще свои будут.

— Нет, я уж не надеюсь.

— Так думаешь выше подняться?

— Только на мушку там не возьмешь.

— Такие крупные?

— Ага, я ходил смотрел.

— Тогда я захвачу червей.

В коридоре раздались чьи-то шаги.

— Знаешь, кто это? — взглянул на меня Хорибэ.

— Понятия не имею.

— Это Накагава.

— Почему ты так думаешь?

— Он всегда ноги приволакивает.

Шаги стихли, отворилась дверь, и вошел Накагава.

— Вы уже здесь? — сказал он, увидев нас.

— Ну как, привыкаешь помаленьку? — с улыбкой спросил его Хорибэ.

— Да... понемногу,— ответил Накагава, принимая от меня чашку с остатками ячменного чая.

— Ничего, не переживай,— сказал Хорибэ.— Они такие же, как все. Главное — не бери в голову.

— Да, но все же...

— Что «все же»?

— ...все же у них такое выражение глаз, когда они на меня смотрят...

— Какое «такое»?

— Ну, не такое, как у обычных заключенных.

— Это тебе кажется.

— Вы думаете?

— Точно.

Хорибэ помолчал, потом спросил:

— А что, что-нибудь случилось?

— Да нет, ничего особенного...

— Наверное, тот?

— Да.

— Кто это «тот»? — спросил я.

— Ну тот, новенький.

— Вытворяет что-нибудь? — Я вспомнил свой утренний разговор с женой про этого нового заключенного, приговоренного к смертной казни.

— Ты на таких поменьше внимания обращай,— посоветовал Хорибэ.— Если он поймет, что ты его боишься, он тебе на шею сядет.

Накагава, не ответив, отстегнул кобуру и дубинку и повесил в застекленный шкаф на крючок, где была табличка с его именем.

— Слушай, Накагава, хочешь пойти с нами на рыбалку? — спросил я.

— Правильно. Пойдем с нами, — поддержал меня Хорибэ.

— На рыбалку?

- Ну да.
- Но у меня и удочки нет.
- А мы тебе дадим.
- У тебя что, какие-нибудь другие планы?
- В общем, нет.
- Тогда пошли с нами.
- Спасибо.

— Вот и отлично. Ничего с собой не бери. Пожрать мы возьмем. А, Сасаки? — Хорибэ, засмеявшись, посмотрел на меня.

Раздался вой сирены, цикады умолкли. Накагава вышел. Он снимал комнату в городе.

- Точно, — сказал я, — немного приволакивает.
- Я ж тебе говорил.

Мы поднялись, взяли из шкафа оружие, зарядили его и прицепили к ремням. Хорибэ взглянул в зеркало и немного поправил фуражку на голове. Я выключил вентилятор, и мы вышли.

В коридоре одна из ламп собиралась перегореть — то вспыхивала, то гасла. Пройдя в самый конец, мы постучали в зарешеченную дверь, нам открыли, и мы вошли внутрь.

- Спасибо.
- Жарко на улице?
- Ужас!

Поболтав с охранниками, мы приняли у них смену. Двое отдежуривших отправились домой.

Отделение смертников было просторным. Крыши над центральным проходом не было. По обе стороны от него в два яруса располагались одиночки, к которым вели разъемные железные лестницы. Пол покрывали стальные плиты. Здание специально было спроектировано так, чтобы все камеры просматривались из любой точки.

Мы поднялись по правой лестнице. Остальные охранники неподвижно стояли на своих местах. Я встал у одного выступа стены, Хорибэ прислонился спиной к другому. Делать было нечего — только смотреть друг на друга да время от

времени вытирать пот платком. Однако мы с Хорибэ давно привыкли к неподвижности. Хоть глаза у нас и открыты, до тех пор, пока никакой посторонний предмет не появится в нашем поле зрения, каждый думает о своем. Как только мой взгляд уперся в стену, он сразу стал невидящим, и мысли потекли своим ходом. Прежде всего — о рыбалке. В последнее время я всегда начинал с размышлений о рыбалке.

Обычно мы ловили рыбу под большим тополем — там было тихо и прохладно. Я попробовал представить себе места выше по течению. До тех пор, пока Хорибэ не предложил переместиться туда, мне и в голову это не приходило. Странно, что мне не надоело удить всегда в одном и том же месте. Ладно, попробуем подняться повыше. Может, там и правда рыба покрупнее, как утверждает Хорибэ. Значит, в этот раз с нами идет Накагава. Вот только пойдет ли он? Он вроде бы не большой любитель рыбачить. Лучше бы он все-таки сходил. Там хорошо, прохладно, и нервы успокаивает. А Накагаве расслабиться просто необходимо. Вот именно — расслабиться. Правильно, надо обязательно его вытащить...

На этом мысли о рыбалке иссякли, и я стал думать о будущем ребенке. Надо же, уже третий. Не много ли? Многовато. Больше бы уже и не прокормить. Старшему пора в школу идти... Как бы денег поднакопить? Да нет, не получится. Вот если бы *то дежурство* выпадало раза по три в месяц. Со спецплатой как-нибудь перебились бы. Господи, о чем я думаю! Век бы *того дежурства* не видеть... Ладно, хватит. Как-нибудь все образуется.

Мои мысли опять вернулись к рыбалке.

Электронные часы выдали трель. Раздался свисток дежурного. Время прогулки. Кто-то из заключенных громко зевнул, из ближней камеры донесся звук удара тела о стену.

По следующему свистку охранники стали открывать двери. Я отворил камеры на своей половине второго яруса, встретившись с Хорибэ точно посередине. По третьему свистку

из дверей вышли заключенные, одетые в летнюю форму, и стали строиться, повернувшись спиной к проходу.

Послышались окрики охранников:

— Не болтать! Не болтать!

— Я тебе плюну!

Новый свисток заглушил голоса, и начался личный досмотр. Заключенный опирался руками на дверь своей камеры, наклонившись вперед. Летом эта процедура была особенно неприятна, поскольку запах потных тел прямо-таки лип к рукам. Я увидел, как Хорибэ, ощупывая ноги того самого заключенного, что-то тихо ему говорит. Тот смотрел прямо перед собой и никак на это не реагировал. Окончив досмотр, мы построили заключенных в затылок. Я встал впереди, Хорибэ — сзади, и в таком порядке мы спустились вниз по лестнице. Раньше, когда я становился к заключенным спиной, у меня, бывало, по спине бежали мурашки. Спустившись по лестнице, мы пропустили вперед другое отделение и вышли на улицу следом за ним. Все как один прикрыли рукой глаза от слепящего солнца. Место для прогулки смертников в отличие от спортплощадки, где заключенные общего режима могли играть на траве в бейсбол и регби, представляло собой тесный дворик, окруженный стеной и разделенный на секторы. Посередине стояла наблюдательная вышка, откуда каждый был виден как на ладони. Сегодня на вышке дежурили мы с Хорибэ. Остальные охранники, запустив в каждый сектор по два смертника, закрыли зарешеченные двери снаружи. И, оставив нас с Хорибэ на посту, пошли отдыхать.

К бетонному полу вышки были прикреплены железные стулья, но нечего было и думать на них садиться — так раскалились они от солнца. Поправив фуражку, я стал вести наблюдение стоя. В отведенных им секторах заключенные отдыхали всяк по-своему. Одни, сняв рубаху и разлегшись на земле, стали загорать, другие — прыгать, третьи — делать гимнастические упражнения, которым обучают в армии. Сверху все это напоминало собачий питомник.

— Не разговаривать! — сердито рявкнул на кого-то Хорибэ.

Разделенные перегородками, заключенные не видели друг друга и все разом посмотрели на нас, чтобы понять, на кого кричат. Однако они прекрасно знали, что, если они не станут разговаривать слишком громко, охранник поленится слезать с вышки и отпирать дверь в сектор, только чтобы заставить их замолчать. Поэтому, загорая, размахивая руками, подпрыгивая, они продолжали вполголоса переговариваться со своими напарниками.

— Ишь как прыгают! — сказал Хорибэ.— И жара им нипочем.

— Нервы успокаивает, когда двигаешься.

— Наверно.

— Точно. Вроде нашей рыбалки.

Наступив ногой на бетонную приступку, Хорибэ стал смотреть на того заключенного. Я спросил:

— Ты чего ему там говорил?

— Я-то? Не приставай, мол, к молодым охранникам.

— Так и сказал?

— Ага,— кивнул Хорибэ, по-прежнему глядя на заключенного.

— Ты Накагаву имел в виду?

— Его, а кого же?

— А этот что?

— Да ничего... Состроил вот такую рожу,— и Хорибэ, выпятив челюсть, изобразил заключенного. А тот, закончив тем временем зарядку, прислонился к стене и, утирая ладонью пот с лица, время от времени поглядывал в нашу сторону.

— Ну и рожа! Прямо съесть готов.

— Да что он здесь может? Что он может? Только рожи корчить.

Заключенный по-прежнему смотрел на нас. Встретившись с ним взглядом, я отвернулся, но Хорибэ глаз не отвел. Тогда тот, пригладив стриженный ежик волос и стряхнув

пот со лба, неторопливо двинулся в нашем направлении. Дойдя до решетки, он вцепился в нее руками и встал, не сводя с нас глаз. Хорибэ спустился к двери.

— Тебе чего? Проваливай!

— Не связывайся с ним,— сказал я.

— Ты что вылупился? — опять спросил Хорибэ. Остальные заключенные старались не смотреть в нашу сторону.

— А что, нельзя? — перехватив решетку поближе к Хорибэ, сказал заключенный.

— Скажи-ка, этот подонки еще разговаривает,— прошипел сдавленным от злости голосом Хорибэ.

— Сами вы подонки,— ответил заключенный.— Сколько вы уже вздернули, а? За меня-то вам много заплатят? Ай-ай-ай, такая тяжелая работа, а платят не густо.

— Хорибэ, перестань, ну его.

Хорибэ, сверля заключенного глазами, задвигал желваками. Потом потянулся было к висящей на поясе дубинке, но так и не вытащил ее. Я снова окликнул его. Он взглянул на меня, повернулся к смертнику спиной и поднялся наверх. Заключенный еще некоторое время смотрел на нас, потом медленно отошел к противоположной стенке и сел на землю.

— Этим типом я займусь сам,— сказал Хорибэ. Его лицо было бледным от злости.

— Не злись. Все одно он первый на очереди.

— Кто сказал?

— Бригадир.

— А кто дежурит?

— Я.

— С кем?

— С ним.

— С кем «с ним»?

— Ну, с Накагавой.

— Его уже назначают?

— Надо ведь когда-то начинать. Чем раньше, тем лучше.

— Это бригадир так сказал?

— Угу. Выпил тут как-то и разговорился.

— Значит, точно.

— Я бы предпочел с тобой, а не с Накагавой.

— А может, поменяешься со мной? У, паскуда.— Хорибэ опять поглядел на заключенного. Тот, сорвав травинку, покусывал ее, высасывая сок.

— Не положено,— ответил я.

— Жаль.

Хорибэ вытер платком рукоять дубинки. Доносящийся издалека стрекот цикад сливался с шумом прибора. Прозвонел звонок, оповещая о конце прогулки. Отдохнувшие охранники зашагали по песку в нашу сторону.

II

До казни того заключенного оставалось два дня. На свидание к нему никто не приходил, даже адвокат. Это было не совсем обычно.

Перед смертью все осужденные сочиняют прощальные стихи и танка, но этот даже писать не умел.

Я, как обычно, стоял на своем посту, на втором этаже. Через полчаса заключенных должны были вести в баню, а потом моя смена кончалась. Напротив, сложив за спиной руки, неподвижно застыл Накагава. Сегодня было особенно жарко — даже не двигаясь, я весь обливался потом. Чтобы рубашка не прилипала к телу, я время от времени оттягивал ворот и дул себе за пазуху. Накагава, напряженно вытянувшись, не делал ни одного движения. То и дело я поглядывал на дверь камеры того заключенного. Накагава, по-моему, тоже не сводил с нее глаз. На первом этаже кто-то из охранников, гремя бутсами, прошел по коридору, заглядывая в глазки камер. И заключенные, и охрана изнемогали от жары. Из какой-то камеры послышался скрип кровати. Накагава шевельнулся, и мои мысли переключились на него.

Участвовать в проведении казни в паре с новичком мне было неохота. Каждый пустяк с ним может превратиться в целое ЧП. Это меня беспокоило. Ладно, ничего не по-

пишешь, подумал я. Он ведь в первый раз. Неужели я когда-то был таким же? Да нет, я был поспокойней, так не трясся. Накагава тоже скоро разберется, что к чему. А в чем, собственно, разберется? В чем это таким я разобрался?.. Ни в чем я не разобрался. Просто привык, шкура задубела. И все-таки чем-то я от Накагавы отличаюсь. Наверняка отличаюсь. Не может быть, чтобы я ничем не отличался от этого молоко-соса. Наверное, я все же понял нечто, что ему пока недоступно. Несомненно... Да что это со мной? Не все ли равно. Наплевать.. Так или иначе, надо взять его с собой на рыбалку. Самое лучшее средство от нервов. Решено, берем Накагаву с собой.

Я стал прикидывать, что нужно будет завтра взять с собой — крючки, наживку, удочки и все такое. Время пролетело незаметно.

Прозвучал звонок, потом два длинных свистка. Охранники поправили форму и подтянулись. В камерах зашевелились заключенные. Накагава отправился вниз за банными принадлежностями. Я прошелся вдоль по галерее мимо своих камер проверить, все ли встали. Тот заключенный сидел неподвижно, но не спал — обжег меня злобным взглядом.

Раздался еще один свисток. Охранники, загремев ключами, открыли двери камер. Стало шумно. Заключенные высыпали в коридор. Я закрыл двери, Накагава раздал всем банные принадлежности. Потом мы приступили к личному досмотру — Накагава с одного конца, я — с другого. Подумав, что не стоит оставлять того типа Накагаве, я заторопился, но все-таки опоздал — молодой охранник уже ощупывал заключенного под мышками. У меня возникло недоброе предчувствие.

Голубой пакет с банными принадлежностями, описав дугу, упал вниз, из него выскочил кусок дешевого мыла и заскользил по полу — прямо под ноги вошедшему в коридор бригадиру. Тот взглянул наверх, рванул из нагрудного кармана свисток и, пронзительно свистя, бросился к кнопке

сигнала тревоги, однако нажимать на нее не спешил.

Накагава, упав на одно колено, вцепился руками в перила, а заключенный с размаху бил его ногой в живот.

— Ни с места! Всем стоять смирно!

Охранники выхватили дубинки и согнали заключенных в кучу.

— Кто тронется с места, буду стрелять!

Бригадир встал у выхода с револьвером в руке, держа палец на спусковом крючке — как на тренировке.

Растолкав заключенных, я бросился вперед по узкому проходу. Тот тип уже ухватился за кобуру Накагавы. Взмахнув дубинкой, я обрушил удар на его подставленный затылок. Мне отдало в плечо, и заключенный рухнул поверх Накагавы. Я хотел врезать ему еще разок, но это было уже ни к чему — он лежал, запрокинув голову, и подергивал ногами, как заведенный. Накагава спихнул его и, держась руками за живот, поднялся.

— Надень на него наручники, — сказал я, чтобы привести Накагаву в чувство. Но он застыл на месте с остановившимся взглядом; лицо у него подрагивало. Я наклонился над лежащим ничком заключенным, заломил ему руки за спину и защелкнул наручники сам.

— Всем возвращаться в камеры. Баня отменяется, — объявил бригадир, пряча револьвер в кобуру. Охранники поспешно загнали заключенных в камеры и заперли двери. Недовольно шумя, осужденные прильнули к смотровым окошечкам, желая узнать, что будет дальше. Охранники встали по местам, а бригадир поднялся по лестнице к нам.

— Все в порядке? Ты цел? — спросил он у Накагавы. Тот, глядя под ноги, кивнул. Наверное, боялся, что расплачется, если раскроет рот. Колени у него тряслись, и дрожь передавалась всему телу.

— Все нормально, — ответил я за него и положил руку ему на плечо, но Накагава вдруг отпрянул. Я мысленно присвистнул и внимательно посмотрел ему в лицо. Из рта у него струйками стекала кровь.

— А с этим что делать? — спросил я у бригадира, взявшись за наручники заключенного, уже пришедшего в себя.

— В кабинет для допросов. Ну и кретин! Думает отсрочку себе заработать.

— А помните, одному как-то раз это удалось, — сказал я.

— Помню, помню. Но ведь тот получил ранение. Да и отсрочка-то была на три дня. А этот целехонек. Накагава, ты тоже с нами.

Бригадир спустился вниз.

Я подтолкнул заключенного в спину, и мы пошли вниз по лестнице. Накагава, немного помешкав, двинулся следом. Тут зазвенел звонок, и дневная смена кончилась. На выходе мы столкнулись с Хорибэ, который сегодня дежурил в паре с другим охранником.

— Что стряслось? — спросил он, быстро оглядев нас троих.

— Да вот этот разбуянился.

— С чего это? — Хорибэ попытался заглянуть заключенному в лицо, но тот упорно не поднимал головы.

— На Накагаву набросился, — сказал я.

— Почему?

— Откуда я знаю!

— Ты в порядке? — спросил Хорибэ у Накагавы.

— Все нормально, — ответил я за него.

— Ну-ну. А как с рыбалкой?

— Идем. Гляди не опаздывай, как тогда.

— Не бойся, встану вовремя.

— Ну пока, до завтра, надо еще этого отвести.

Попрощавшись с Хорибэ, я взял заключенного за локоть и вывел его в коридор. Потом оглянулся: Хорибэ замахнулся кулаком вслед осужденному и беззвучно засмеялся.

Мы втроем прошли по коридору в узкий бетонированный тамбур, а оттуда в кабинет, напоминавший складское помещение. Я тут бывал столько раз, что и счет потерял.

Из-за отсутствия окон воздух в кабинете был спертый. Ножки деревянного стола и стула наглухо крепились

к бетонному полу. На этот единственный стул я и посадил нашего подопечного. Он, очевидно, еще не оправился от удара и двигался как во сне. Мы стали молча ждать, обливаясь потом. Временами Накагава, словно спохватываясь, шумно вздыхал.

Где-то далеко прозвучал свисток. Похоже, заключенных все-таки повели в баню. Потом в коридоре раздался звук шагов, дверь отворилась, и вошли бригадир и узколицый чиновник, державший в руке какие-то бумаги. Чиновник был в светлом пиджаке, с аккуратно повязанным галстуком пепельного цвета. Я его никогда раньше не видел.

Бригадир представил ему нас с Накагавой и, бегло оглядев кабинет, вышел, но тут же вернулся, неся еще один стул, который предложил чиновнику. Тот сел было, но потом поднялся и перенес стул поближе к заключенному.

— Итак, что произошло? — спросил чиновник, обращаясь к Накагаве.

— Он... меня ударил... ни с того ни с сего...

— Почему?

— ...

— Может, ты ему что-то такое сказал?

— Да нет...

— Так, не говорил... Значит, что-нибудь ему сделал?

— Ничего.

— Никакой провокации не было?

— Никак нет.

— Твоя фамилия, кажется, Сасаки? — обратился ко мне чиновник, вертя в руках карандаш.

— Так точно.

— Все было, как говорит Накагава?

— Так точно.

— А утихомирил его ты?

— Я был ближе всех.

— И каким образом ты это сделал?

— Дубинкой.

— Ударил его дубинкой?

— Так точно.

— Куда?

— Вот сюда.— Я похлопал себя ладонью по затылку. Чиновник, приподнявшись, посмотрел на опущенную голову заключенного. Стриженные волосы на затылке были прямыми, но крови не было.

— Так, травмы нет. Он пытался завладеть оружием? Для побега или с какой-либо иной целью? — спросил чиновник, скользя шариковой ручкой по бумаге, под которую была подложена копирка. Бригадир покачал головой, давая мне знак ответить отрицательно. Чиновник этого не видел.

— Нет, не пытался,— твердо ответил я и взглянул на правый бок Накагавы: из расстегнутой кобуры виднелась рукоятка пистолета. Чиновник тоже заметил это, но ничего не сказал.

Вдруг заключенный вскинул голову, привстал и закричал, обращаясь к чиновнику:

— Врут они! Я бежать хотел! И пистолет пытался выхватить. Вы что, суки, задумали? Вздернуть меня торопитесь?

Я схватил его за плечо и усадил на место.

— Тебя пока не спрашивают,— спокойно ответил чиновник. Заключенный злобно глянул на него, стряхнул мою руку с плеча и судорожно вздохнул.

— Значит, никакой конкретной цели он не преследовал, так?

— Так точно,— ответил бригадир из-за спины чиновника.

— У Накагавы есть травмы?

— Пустяки.

— Ладно, подпишитесь вот здесь.

Чиновник протянул нам исписанный лист бумаги. Мы трое приложили к нему свои печати.

— Можете идти,— сказал чиновник мне и Накагаве и подложил копирку под новый лист бумаги. Мы вышли из комнаты. Проходя по коридору, мы услышали, как заключенный что-то завопил. Потом стало тихо.

В комнате охранников никого не было, только вентилятор

медленно крутил свои лопасти под потолком. Накагава подошел к дивану и молча сел. Я снял фуражку, убрал оружие в шкаф и, подойдя к окну, широко раздвинул шторы. Солнце клонилось к закату.

— Ничего, бывает,— сказал я, глядя в окно. Потом, стараясь не смотреть на Накагаву, подошел к своему столу, вытащил из ящика непечатую пачку сигарет и закурил. От дыма слегка закружилась голова.— Хочешь? — Я протянул пачку Накагаве. Он чуть приподнял голову, взял сигарету и, опять уставившись вниз, стал жадно затягиваться. Пепел сыпался на пол. Я достал еще одну для себя.— Не расстраивайся,— сказал я.— Вот ходим на рыбалку, и все забудется.

Накагава, не ответив, бросил окурочок в пепельницу и быстро встал. Потом порывисто снял портупею, запер шкаф и направился к двери.

— Эй, завтра на рыбалку, не забудь,— сказал я ему вслед.

— ...До свидания.

Дверь захлопнулась. Слегка шаркающие шаги Накагавы затихли вдали. Я тоже направился было к двери, но, передумав, вернулся на диван и не спеша докурил вторую сигарету.

Предвечернее затишье кончилось, задул ветерок. Я посмотрел на часы, выключил вентилятор и вышел из комнаты. Когда я шел по спортплощадке, солнце уже садилось, закат полыхал в полнеба. По ту сторону газона чернела чья-то фигура, но тут же скрылась за деревьями. Кажется, это был Накагава.

Луч прожектора медленно делал круги, и огромное световое пятно обшаривало насыпи и деревья.

Возле ворот стояло несколько грузовиков, груженных стульями и столами, которые заключенные изготавливали в мастерских.

Когда я подошел к дому, навстречу выскочили сыновья и повисли у меня на руках.

— Добрый вечер,— крикнула жена из кухни. Дети схватили мою фуражку и понеслись прочь. Я прошел на кухню,

умылся, разделся, обтерся водой до пояса и надел халат.

— Милый, ты что, обещал детям взять их на море? — спросила жена за ужином.

— Угу.

— Но ведь сейчас нельзя.

— Почему?

— Волны еще большие. Опасно.

— Ничего. Я знаю тихое место.

Я выпил залпом бутылку пива.

— Нет, правда не опасно?

— Ничего.

— Ну и когда ты думаешь? — спросила жена.

— Завтра, завтра! — закричали дети, разбрасывая рис из тарелок.

— Завтра не получится. На рыбалку иду.

— Опять? Ты же совсем недавно ходил.

— Да, опять.

— Неужели это так интересно?

— Конечно. Кто сам не ловил, не поймет, — сказал я. —

Приготовь мне еды на двоих.

— Почему на двоих?

— Накагава тоже идет.

— Это который новенький?

— Да.

— Он же молодой, ему, наверно, неинтересно.

— Это я его пригласил.

— Зачем?

— Так просто.

— Ну, а на море когда? — спросила жена, как только, закончив ужинать, дети отвернулись к телевизору.

— Не знаю. Может, во вторник, — ответил я громко, чтобы они слышали. — У меня отгул, — пояснил я жене.

— Значит, в понедельник?..

— Ага.

— И кто на этот раз?

— Да кто-то там, не знаю.

Дети, лежа на татами, изображали, что они плавают в море.

Поздно ночью я проснулся от шума голосов. Жена громко разговаривала с кем-то в прихожей. Я откинул сетку, встал и накинул халат. Второй голос принадлежал мужчине.

Я вышел в прихожую. Там сидел Накагава, сильно пьяный. Жена, увидев меня, вздохнула с облегчением:

— Хочет тебя видеть, и ни в какую.

— А-а, Сасаки-сан. Я ухожу.

Лицо и шея Накагавы были багрово-красными.

— Куда? — спросил я.

— Как куда? Неужто непонятно? С этой злосчастной работы, будь она проклята.

В прихожей разило перегаром.

— Проходи в комнату,— сказал я,— и не шуми, дети спят.

Обхватив Накагаву за плечи, я помог ему подняться, а жена сняла с него туфли. Оглянувшись назад, я увидел две головенки, две пары глаз, сосредоточенно наблюдающие, как я волоку Накагаву в комнату. Жена, всплеснув руками, бросилась снова укладывать детей в постель.

— Ладно, ничего страшного. Эй, воды принеси,— сказал я ей вслед. Она принесла из кухни полный стакан. Накагава залпом выпил воду и, поперхнувшись, рванул ворот рубашки.

— Не под силу мне это.

— Что «это»?

— Не могу убивать людей.

— Тише,— сказал я ему.— Это они убийцы, а не мы.

— И вам, Сасаки-сан, этого достаточно? И вы ничего не чувствуете?

— Почему не чувствую? Чувствую.

— Так почему не уходите с этой работы?

— Легких работ не бывает.

— Не-ет, просто вам все равно. Вам это нравится.

— Что тут может нравиться? — Я начал злиться.

— Значит, просто я не гожусь. Слишком слаб, наверно.
Трус я.

— Да ничего подобного.

— Нет, я трус.

— Ты когда поступал на работу, директор тюрьмы с тобой беседовал?

— Беседовал. Он все верно говорил, все правильно. Мне это было понятно. «Святая обязанность, которую кому-то надо выполнять», и все такое... Да только не могу я. Нет моих сил.

— Ты просто пьян. Иди домой и ложись спать.

Я обнял Накагаву за плечи и заглянул ему в лицо. Он плакал, по-детски всхлипывая, и на пол падали крупные слезы. Потом он что-то пробормотал и разрыдался в голос.

— Слушай, Накагава, — сказал я ему. — Поменяйся в понедельник с Хорибэ. Я скажу бригадире.

— Но... — Накагава поднял налитые кровью глаза.

— Ничего, не думай о будущем. Пропусти этот раз.

— Но... когда-нибудь ведь все-таки...

— Если тебе совсем невмоготу, потом еще раз это обсудим. А сейчас иди спать.

Вытирая опухшие от слез глаза, Накагава поднялся. Его лицо было мертвенно-бледным. В прихожей он чуть не упал.

— Не забудь про завтрашнюю рыбалку, — сказал я.

— ...

— Там и поговорим.

— ...

Обувшись, Накагава открыл дверь и вышел на улицу. В небе светила луна.

— Всего хорошего, — сказала жена и закрыла дверь.

Слышно было, как Накагаву вырвало за порогом.

— Может, ты его проводишь? — спросила жена.

— Ничего, дойдет.

— О чем вы говорили?

— Да ничего серьезного.

— Да,— сказала жена.— Наверное, ему действительно лучше сходить на рыбалку.

— Кому?

— Да Накагаве.

— Это точно. Не забудь приготовить для него еду.

— Хорошо.

Звук шагов Накагавы затих вдали. Сегодня он шаркал ногами больше обычного.

Жена повернула в двери ключ. Я взял в комнате стакан, из которого пил Накагава, отнес его на кухню и сполоснул под сильной струей воды.

III

На следующее утро за мной зашли Накагава и Хорибэ, и мы втроем отправились на рыбалку. Накагава был бледен с похмелья. Я не стал ничего говорить Хорибэ о вчерашнем.

Кроме рыболовных принадлежностей и завтрака, Хорибэ прихватил с собой пол-ящика пива в бумажной сумке.

Под жаркими лучами солнца мы дошли до остановки и сели в автобус.

Пассажиров было много, но почти все они вышли сразу за городом, и в салоне остались только мы да старуха с ребенком, сидевшим в бамбуковой корзине у нее за спиной. Ребенок все время вертел головой, глядя то на нас, то в окно.

Кондуктор открыл все окна, и по салону разгуливал легкий ветерок. Автобус переехал через большой мост и стал двигаться вдоль излучины реки.

Мы вышли на конечной остановке — маленькой круглой площадке, окруженной зарослями бамбука. Автобус развернулся и, подняв облако пыли, поехал в обратном направлении.

Солнце стояло еще невысоко, и с окрестных холмов доносилось пение птиц. Следом за Хорибэ по дорожке, прорубленной в зарослях бамбука, мы поднялись на холм, у подножия которого журчала речка. Мы спустились вниз

и пошли по тропинке вдоль берега. Наши рубашки уже успели насквозь промокнуть от пота.

Мы вышли на наше обычное место. Здесь, в тени большого тополя, меж камней росла высокая трава. Там, где мы всегда сидели с Хорибэ, трава была примята, валялись окурки и пустые консервные банки.

— Вот тут мы всегда ловим,— сказал я Накагаве.

— Да? — Накагава достал платок, вытер пот со лба и посмотрел на голубую гладь реки.

— Пойдем повыше,— предложил Хорибэ, и мы двинулись дальше. Тропинка кончилась. Крутые склоны холмов спускались к самой воде, тут и там росли сосны и криптомерии. Трава доходила нам до пояса, кое-где в ней краснела земляника. Я сорвал одну ягоду и раздавил ее, пальцы покраснели от сока и пропитались сладковатым ароматом. Хорибэ шел впереди, и каждый раз, когда он спотыкался о какой-нибудь корень, у него в сумке звякали бутылки.

В самом узком месте течение разбивалось о каменистый перекат. Большой камень с ровной поверхностью перекрывал реку почти до самой середины. На нем мы и решили обосноваться. Захватив с собой удочки и еду, мы забрались наверх. Утес раскалился от солнца. Я то и дело снимал соломенную шляпу и вытирал пот. Хорибэ открыл всем по бутылке пива, и мы выпили, но пиво было теплым и противным. Остальные бутылки Хорибэ связал леской и опустил охлаждаться в воду.

— Рыба есть? — спросил я.

— Есть. Гляди! — подавшись вперед, сказал Хорибэ. В голубоватой тени под скалой кругами ходила стайка кижучей. Каждый раз, когда головной менял направление, остальные сворачивали за ним, посверкивая серебристой чешуей. А на глубине неподвижно стояло несколько крупных рыб.

— Вроде гольцы,— сказал Хорибэ, разворачивая завтрак.

— Не может быть!

— Точно.

— Здоровенные. На мушку не возьмешь.

— Не-е, не возьмешь,— согласился Хорибэ.

Подальше, на пенистой быстрине, играли ельцы. Хорибэ развернул свой сверток с завтраком и взял в руки удочку.

— Не торопись,— сказал я ему.— Потом поедим.

— Давай удить и есть одновременно.

Я вынул из сумки два свертка и протянул один Накагаве.

— Спасибо.

— Ешь, ешь. Ты же неженатый.

Накагава взял рисовый колобок. Я тоже стал есть. Хорибэ то сажал наживку на крючок, то закусывал, время от времени весело покрикивая.

— Эй, потише! Рыбу распугаешь.

— Ничего; как разбежится, так и вернется.

— Как наши подопечные из тюрьмы,— сказал я.

— Ну, наши-то как раз не возвращаются.

В ответ на эту шутку Накагава криво улыбнулся.

Мы расселись кто где хотел и закинули удочки. Сидеть на камне было жарко, но речная прохлада и плеск воды все же приносили облегчение.

Я поставил банку с червями в тень и стал следить за поплавком. Прицепленный на крючок червяк шевелился в воде красной точкой, и кижучи собрались вокруг него.

Первым маленького кижуча поймал Накагава. Он неловко вытащил крючок, разорвав рыбе рот. Хорибэ бросил кижуча в ведро, которое поставил в неглубокую лужу.

— Ну как, интересно? — спросил он у Накагавы.

— Да.

— Теперь лови покрупнее,— сказал я ему.

Я поднял удочку и забросил крючок подальше, на глубину. Стоявшие неподвижно рыбы бросились врассыпную от поплавка, потом осторожно стали приближаться. Одна схватила червя, белый поплавок задергался, потом вдруг пошел вниз, и леска натянулась. Рыба пыталась освободиться от крючка, остальные быстро уплыли. Убедившись, что крючок сидит крепко, я медленно подвел рыбу поближе и, дав ей

выдохнуться, подцепил сачком. Кижуч был сантиметров на двадцать, он трепыхался у меня в руке, оставляя на ладони серебристые чешуйки. Хорибэ подал мне ведро, и я бросил туда свою добычу. Моя рыба была гораздо крупнее той, которую поймал Накагава.

— Ничего рыбеха,— сказал Хорибэ.

— Да, большая,— согласился Накагава.

— Угу.

Мы молча смотрели на кижучей. Тот, что поменьше, лежал брюхом вверх, шевеля разорванным ртом, потом медленно перевернулся.

За час мы поймали штук тридцать и заполнили ведро доверху. Потом клев почти прекратился.

— Давайте пивка попьем,— предложил я.

— Давай.

Хорибэ осторожно, стараясь не разбить о камни, вытянул из воды бутылки. Пиво было холодным, и мы быстро его выпили.

— Слушай, Хорибэ,— сказал я.

— Чего?

— Завтра я дежурю.

— Знаю. Очередь того психа.

— Да, его.

— Значит, не удалось ему оттянуть.

— Не удалось. Если б каждый так пытался, нам бы житья не стало.

— Ну и чего?

— Ты не поменяешься с Накагавой?

Посмотрев на меня, Хорибэ перевел взгляд на Накагаву. Тот сосредоточенно изучал свой голубой поплавок. Из роши, расположенной выше по течению, доносился крик кукушки.

Хорибэ вдруг рассмеялся.

— Не бери в голову,— сказал он Накагаве,— смотри на это дело просто, как на рыбалку.

Накагава поднялся.

— Ты куда?

— Пойду искупаюсь.

Он послешно спрыгнул со скалы и побежал вверх по течению. Хорибэ опять засмеялся.

— Не смейся.

— Да смешно ведь.

— Чего тебе смешно?

— Черт его знает, сам не пойму.

— Вот и не смейся. Видишь, он психует.

— Ладно, не буду. Что-нибудь еще с тех пор стряслось? — спросил он, пытаясь подавить смех. Я рассказал ему, как Накагава напился и приходил ко мне домой.

— Ну, это еще не причина, чтобы его подменять, — сказал Хорибэ, швырнув пустую бутылку через реку. Бутылка, не долетев до берега, со всплеском упала в воду, и быстрое течение унесло ее прочь.

— Он говорит, что уволится, — сказал я.

— Накагава? Он это всерьез?

— Похоже на то.

— Хм, а что скажет бригадир?

— Ну, можно ему объяснить, что, мол, у охранника личные счета с заключенными или что-нибудь в этом роде.

— Это верно, — согласился Хорибэ, — но бригадир все равно может заставить его отдежурить.

— Зачем?

— А чтобы раз и навсегда избавить от мандража.

— М-да, это возможно.

Отойдя от нас подальше, Накагава нырнул с берега в тихую заводь. Испуганные трясогузки, стуча хвостами по воде, пронесли над поверхностью реки.

— Ну и тип, — сказал Хорибэ, — хлопот с ним не оберешься.

— Это точно. Но ты все-таки подмени его завтра. Он скоро возьмет себя в руки.

— Ну да, скоро.

— Не язви.

— Ладно, понял. Подменю, — сказал Хорибэ и швырнул

бутылку в стайку кижучей. Они тут же исчезли. Я громко позвал Накагаву. Крик кукушки оборвался. Накагава вылез из воды и, поддерживая плавки, побежал к нам по песку.

— Он тебя подменит,— крикнул я Накагаве со скалы.

— Да? Спасибо.

— Да ладно,— сказал я.— В следующий раз пойдешь сам.

— Хорошо.

Накагава забросил на скалу одежду, залез сам и уселся на камень в одних плавках. Капли воды стекали с его тела и тут же высыхали.

— Слушай, Накагава,— сказал Хорибэ,— ты задумывался когда-нибудь, что это за публика?

— ...Убийцы.

— Вот именно. Мы ведь тех, кто не виноват, не наказываем. А эти убивают людей, че-ло-ве-ков, понял? Живых людей. Ты был когда-нибудь на месте убийства?

— Нет...

— Брось, Хорибэ,— сказал я.— У каждого бывает хреновое настроение.

— Конечно, бывает. Работа у нас такая. Ты учти, что этот, завтрашний, даже ребенка не пожалел. Взял за ноги да и выбросил со второго этажа на бетонную мостовую. Ребенка, понял?

— Они не люди,— сказал я.— Только выглядят как люди. Вот, например, когда пускают в серийное производство какой-нибудь сложный агрегат, в отдельных экземплярах обязательно будет брак. Что с такими делают? Выбраковывают и выбрасывают. То же и с людьми. Брак никому не нужен.

Накагава открыл рот и хотел что-то сказать, но промолчал.

— И хватит об этом,— добавил я, чувствуя, что не в меру разболтался.

— Так или иначе, завтра подежурю я,— сказал Хорибэ.

— Еще будем удить?

— Давай.

— Послушайте...— начал Накагава, но Хорибэ прервал его:

— Все, поговорили.

До захода солнца мы наловили еще несколько десятков рыб. Тех, что покрупнее, мы потрошили, промывали и нанизывали сквозь жабры на бамбуковый прут.

К остановке мы подошли, как раз чтобы успеть на последний автобус.

IV

Понедельник. Тучи с утра заволокли небо. Похоже, собирался дождь.

Когда я проснулся, завтрак уже был готов. Дети еще спали. Я вспомнил, что за ночь несколько раз просыпался. Перед таким дежурством это со мной бывало всегда.

Я пошел на кухню умываться и бриться. Пальцы пропахли рыбой, и сколько я их ни мыл, запах не отставал.

Жена дала мне свежевывстиранные брюки и рубашку.

— Дождь будет,— сказала она, когда я сел завтракать.

— Угу.

— Ты чего?

— Ничего.

— А почему такой мрачный?

— Такой же, как всегда.

— Устал на рыбалке?

— Нет, я хорошо выспался.

— Поешь еще немного.

— Нет, хватит. Дай чаю.

— Пойдешь завтра?

— Куда?

— На море.

— А, пойду.

— Правда?

— Я же обещал.

— Я, пожалуй, дома останусь.

— Идем с нами.

— Да? Но я же в положении,— сказала жена, кладя

руку на выпятившийся живот.

— Ну и что? Тебе полезно иногда бывать на солнце.

— Ты думаешь?

— Ну конечно. И ребенку полезно.

— Тогда я тоже пойду.

— Вот и хорошо,— сказал я.— Да и трудно мне будет одному с чертенятами управляться.

— Верно. Надо будет еды захватить.

— Пива купи. В маленьких бутылках.

— С собой возьмешь?

— Угу.

— Ой, как все-таки здорово!

— Да, первый раз искупаешься в этом году.

Допив чай, я надел брюки и рубашку. Накрахмаленная ткань приятно холодила кожу.

— Ну, я пошел.

— Может, зонтик возьмешь? — спросила жена, высунувшись за дверь и глядя в небо.

— Не надо. Тут близко. Если и польет, то ненадолго.

— Ну ладно, счастливо.

— Ага.

Небо почернело, стало темно, как вечером. В соседних домах еще спали.

Когда я подошел к тюрьме, в ворота въехал, светя фарами, фургон с новыми заключенными.

— Привет.

— Рановато вы сегодня.

— Да, рано.

— Значит, сегодня?..— спросил толстый охранник из-за застекленного окошка.

Не отвечая, я прошел мимо. «Ай-ай-ай»,— сказал охранник мне вслед. Я обернулся и увидел, что он улыбается, странно кривя рот.

Я молча прошел через ворота и зашагал по аллее. В рубашке с короткими рукавами было холодновато.

Выйдя на спортплощадку, я увидел впереди Хорибэ.

Провыла сирена. Сразу в нескольких корпусах раздались свистки и шум. Я бегом догнал Хорибэ.

— Привет,— сказал он, обернувшись.

— Давай-ка поспешим.

Мы быстрым шагом пересекли спортплощадку и вошли в проход, сделанный в насыпи. Дорожка, ведущая к экзекutionному корпусу, была посыпана белым песком, на котором остались аккуратные следы от метелки.

Мы с Хорибэ прошли в комнату охранников и стали готовиться.

— Сейчас ливанет,— сказал Хорибэ, стряхивая пепел с сигареты и глядя на небо в щель между шторами.

— Давно дождя не было.

— Да, как назло.

— Лучше бы в такой день не работать.

— Точно,— ответил Хорибэ.

— Закончить бы поскорее.

Открылась дверь, и вошел бригадир. Сегодня он тоже оделся во все чистое, но вид у него, как всегда, был немного комичный.

— Что с Накагавой? — спросил он у меня, увидев Хорибэ.

— Поменялись.

— Да? Ну ладно.

Бригадир дал нам новые белоснежные перчатки и смотрел, как мы их натягивали. Они были еще теснее, чем обычно.

— Как там *этот*? — спросил Хорибэ у бригадира.

— «Этот»? Сегодня он у нас так называется? — с серьезным видом переспросил бригадир и улыбнулся. У него еще были и другие дела, и он поспешно вышел.

— Похоже, наш приятель тут буянил,— сказал Хорибэ.

— Похоже.

Продолжая собираться, мы поглядывали в окно и говорили о рыбалке.

— Полило.

Крупные капли застучали по стеклу, стекая струйками вниз. В комнате трижды прозвенел звонок.

Мы вышли в коридор.

— Счастливо потрудиться, — приветствовала нас ночная смена.

— Как *этот*? — спросил я.

Ночной дежурный, криво улыбаясь, сказал, что заключенный всю ночь рыдал.

— Надо было перевести его в другую камеру, — сказал Хорибэ.

— Да я просил бригадира, а он говорит, и так сойдет.

— Почему?

— Боялся, что *этот* станет брыкаться, еще травму получит и казнь могут отложить.

— Это верно, — сказал Хорибэ. — Остальные, поди, не спали?

— Куда там! *Этот* закатил концерт. Вешайте, кричал, меня скорее.

— Да-а, дела, — сказал я.

— А, пустяки. Подумаешь, в дверь ломился. Все равно из камеры никуда не денешься.

Охранник потер красные от бессонной ночи глаза и отпер ключом решетчатую дверь, перегораживающую коридор. Было тихо. Лишь изредка раздавались шаги часовых. Раньше в такие минуты мне казалось, что все камеры вдруг разом вымерли. Но это было давно, теперь такие дурацкие мысли мне в голову не приходили.

Раньше камеры в этом корпусе были грязные, набитые битком, а *дежурить* приходилось по три раза в месяц. Теперь охранников стало больше, а число смертников сократилось.

По крыше барабанил дождь.

— Ну и льет! Пропала моя форма, — сказал Хорибэ, показывая на недавно полученные новые брюки.

— И моя. Только из чистки.

— Что им стоит построить крытую галерею к тому корпусу?

— Ага, мы б тогда не мокли, — сказал я, перед глазами у меня возникла аккуратно выметенная белая дорожка

метров в пятьдесят длиной, ведущая к экзекуционному корпусу. Прозвучала вторая сирена, извещающая о времени завтрака для заключенных обычного режима. Послышался шум шагов, и в коридоре появилась группа людей. Впереди шел долговязый директор тюрьмы, чуть сзади и сбоку от него виднелось плечо бригадира. За ними — три чиновника, в том числе тот, что вел протокол, когда *этот* бросился на Накагаву. Замыкал шествие священник. Он был раза в два крупнее любого из нас и одет в черную рясу, так что видел весьма внушительный. Хорибэ терпеть не мог этого здоровенного, неряшливого дядьку. У меня его жирная физиономия тоже не вызывала симпатии.

Священник, поняв по белым перчаткам, что дежури́м сегодня мы, улыбнулся нам слабой, женственной улыбкой.

— У, брюхан,— пробормотал Хорибэ, скривившись.

— Тихо ты!

Этот поп служил у нас уже пятый год, продержавшись гораздо дольше, чем кто-либо из его предшественников, и не было случая, чтобы он пропустил хоть одну казнь.

Все вошедшие расселись на специально для них выставленных стульях. В день казни все смертники настороже, и в камерах тишина — ни шороха, ни звука.

Дождь лил все сильнее. Бригадир обратил на это внимание директора. Тот, выдвинув вперед свою и без того выпяченную челюсть, отрицательно покачал головой.

В течение следующих тридцати минут никто не произнес ни слова. Мы с Хорибэ не сводили глаз с камеры приговоренного, а вся эта компания так и сидела на стульях без движения.

Длинная стрелка электронных часов коснулась цифры 12. Свистка не было, просто бригадир снизу махнул нам с Хорибэ рукой. Все тут же встали, а священник раскрыл Библию и стал читать нараспев. Молодой охранник, держа на вытянутых руках деревянный ящичек, где лежал белый хлопчатобумажный саван, поднялся по лестнице к нам. Я выбрал из связки ключ и остановился перед дверью

камеры. Бормотание священника приблизилось. Директор встал за спиной у Хорибэ, чиновники окружили нас с боков, а поп вышел вперед. Я вставил ключ в скважину и осторожно стал открывать дверь, но она громко заскрипела. Хорибэ толкнул ее, и мы заглянули внутрь. В нос ударил специфический камерный запах. Через оконную решетку было видно, как льет дождь.

Заклученный лежал, свернувшись клубком и закутавшись в вытертое тюремное одеяло. Мы с Хорибэ, стуча бутсами, вошли в камеру. Приговоренный резко повернулся, и одеяло на нем закрутилось. Директор взял у одного из чиновников протокол и громко назвал смертника по имени. Тот продолжал лежать. Бригадир подал нам знак глазами. Одеяло сползло, и показалось лицо заключенного. На нем застыло какое-то бессмысленное выражение. Хорибэ подошел к смертнику сзади и тряхнул за плечи. Тот вздрогнул всем телом и посмотрел сквозь ресницы сначала на меня, потом широко раскрыл глаза и оглядел всех остальных. Я, не мешкая, надел на него наручники. Осужденный рванулся вперед, пытаясь сбросить со своих плеч руки Хорибэ, и тут же перед ним очутился поп.

— Успокойтесь,— сказал он.

Хорибэ поставил смертника на ноги. Я открыл ящичек и вынул аккуратно сложенный белый саван с поясом.

— Сам наденешь? — спросил у осужденного бригадир. Заклученный посмотрел на саван и отшатнулся. Все смертники, сколько я их помню, реагировали так же. Хорибэ сзади схватил его за плечи, а я расстегнул наручники. Нижнее белье приговоренного было чистым, только что из стирки. От долгого сидения в тюрьме мускулы его когда-то крепкого тела утратили былую упругость.

Согнув ему сначала одну руку, потом другую, я продел их в рукава. Затем повязал поверх савана пояс и снова надел наручники. Все это время поп торчал перед нами, как изваяние, и непрерывно бормотал что-то, листая Библию.

Дождь за окном превратился в настоящий ливень.

Директор тюрьмы подал знак, и все двинулись в путь. Впереди шел сам директор, за ним поп, потом мы с Хорибэ вели осужденного, а за нами следовали чиновники и бригадир. Когда мы покинули камеру, туда сразу вошел охранник — делать уборку. Очень медленно мы спустились по железной лестнице. Грохот наших шагов заполнил весь коридор, сливаясь с шумом дождя, колотившего по крыше. В одной из камер кто-то начал тихонько покашливать и кашлял до тех пор, пока последний чиновник не сошел вниз по лестнице. Перед решетчатой дверью выстроились остальные охранники, провожая глазами нашу процессию.

На улице лило как из ведра. И деревья вдали, и газон спортплощадки, и насыпь, и тюремные корпуса заволокла пелена дождя. Бригадир раскрыл зонтик и держал его над осужденным. Остальным приходилось мокнуть. Столь аккуратная прежде дорожка, ведущая к экзекуционному корпусу, была теперь вся изрыта потоками дождя. С иголок молодых гималайских кедров, недавно посаженных вдоль дорожки, непрерывно стекали желтоватые капли. По веткам с чириканьем прыгали вымокшие, нахохленные воробьи. Я шел, сжимая рукой левое запястье осужденного. Через ткань савана я чувствовал биение его пульса и тепло кожи.

Процессия продвигалась вперед без помех. Если бы не дождь, подумал я, все было бы совсем как в тот раз, когда дело обошлось без единого инцидента. Правда, тот осужденный долго болел и ослабел до такой степени, что мало отличался от трупа.

Посередине пути смертник вдруг рванулся что было сил, пытаясь освободиться. Поняв, что это ему не удастся, он уронил голову и подогнул колени, затормозив движение. Уставившись в землю, он стал еле слышно что-то повторять. Процессия остановилась, однако никто не покинул своего места. Мы с Хорибэ переглянулись и рывком поставили осужденного на ноги.

— Ну-ну,— сказал поп, обращаясь к нему,— успокойтесь. Возьмите себя в руки. Вам недолго осталось страдать.

Плечи осужденного поникли, он не держался на ногах и всем телом повис у нас с Хорибэ на руках. С козырька фуражки мне на лицо стекали дождевые капли, и я с силой тряхнул головой.

Процессия снова тронулась в путь. Дорожка привела к круглому зданию, это и был экзекуционный корпус. Слева перед ним стояла отполированная временем мраморная стела.

Когда мы поднимались по ступенькам ко входу, осужденный наступил на полу савана и опрокинулся назад, увлекая за собой меня и Хорибэ. Однако бригадир тут же поднял его на ноги — травм у него не было. Хорибэ поглядел на свои испачканные брюки, потом на меня и скорчил гримасу.

Перед входом мы остановились. Наши лица отражались в круглых шляпках больших декоративных гвоздей, которыми была обита крепкая складная дверь светлого дерева. Директор, как всегда, немного постоял перед ней. Потом он шагнул в сторону, и вперед вышел бригадир, который надавил на дверь обеими руками. Она сложилась гармошкой, не скрипнув хорошо смазанными петлями.

Стены комнаты были завешаны черными и белыми драпировками. В центре стоял алтарь, покрытый белой материей. За ним был расположен вход в экзекуционную камеру, пока скрытый от глаз шторой. Все вошли внутрь, закрыв за собой дверь. Пламя толстых свечей, горевших на алтаре, слегка заколебалось от движения воздуха, и блики побежали по металлическим поверхностям. Дневной свет проникал в помещение через два круглых оконца в потолке, сейчас залитых потоками дождя.

Мы с Хорибэ усадили осужденного на стул перед алтарем. У всех на пол с брюк стекала вода. Кто-то кашлянул.

— Поднимите голову,— сказал поп осужденному. Тот немного приподнял лицо и уставился на пламя ближайшей свечи. Медленно повернувшись огромным телом, поп встал лицом к алтарю. Потом, как фокусник, извлек откуда-то

фиолетовую ленту, прикоснулся к ней толстыми губами, повесил себе на шею, поклонился и перекрестился.

Держа в руках раскрытую Библию, поп стал читать с того же места, что и всегда, выговаривая знакомые слова протяжным, тонким голосом. Начало я уже знал наизусть.

Дождь с прежней яростью лупил по крыше. Временами небо освещали вспышки молний и доносились дальние раскаты грома.

Проповедь и молитвы шли своим чередом. Один из стоявших сзади чиновников, тот, что в центре, со значительным видом держал в руках папку с бумагами. Бригадир решительно сцепил руки за спиной, отчего его плечи казались еще шире. Директор тюрьмы, выпятив челюсть, смотрел в потолок, кивая в такт словам священника и растроганно шмыгая носом. Так он вел себя всегда. Хорибэ застыл в неподвижности, я рассматривал раннюю лиловую хризантему в вазе тонкого стекла. Наручники осужденного, лежавшие у него на коленях, все время тихонько позвякивали.

Молитва, затихая, подходила к концу. Поп перекрестился, колыхнув черной шелковой рясой, и, сладко пропев «аминь», медленно повернулся к приговоренному.

— Отныне с вас снимается вина за свершенные вами злодеяния, и вас ожидает царствие небесное. Ничего не бойтесь и ни о чем не тревожьтесь,— сказал он, кладя пухлую руку с толстым кольцом на плечо заключенного. Звяканье наручников прекратилось, и плечи осужденного напряглись. Я хотел удержать его, но он уже повалился лицом вперед, под ноги попу. Тот отскочил с неожиданным проворством. Библия вылетела у него из рук и сшибла с алтаря одну из свечей. Хорибэ взмахнул дубинкой, но бригадир успел схватить его за руку.

Осужденный пополз по забрызганному водой полу, но запутался в полах своего савана, повалился на бок и так и остался лежать.

Я взялся за его наручники, Хорибэ придержал ноги,

и мы опять усадили заключенного на стул. Белый саван на спине почернел от грязи, но на полу следы его ползания быстро высохли. Поп опять улыбнулся своей женственной улыбкой. Он был похож на жирную черную бабочку.

— Не надо шуметь. Тише. Вам нечего бояться. Успокойтесь и повторяйте за мной слова молитвы. Тогда преступления ваши простятся и вам откроется царствие небесное. Ну же...

И поп начал нараспев читать набор коротких фраз, которых, наверное, в другом месте не услышишь. Но осужденный не стал ему вторить, от страха он не мог ни на чем остановить взгляд, и зрачки его быстро двигались то влево, то вправо. Не обращая на это внимания, поп быстро допел положенное до конца.

— Так,— сказал он.— Теперь положите сюда руку и скажите «аминь».

Поп сунул осужденному под нос Библию в черном кожаном переплете. Хорибэ двумя пальцами взялся за цепь наручников и положил руки заключенного на Библию. Из всех охранников на такое был способен только он.

— Аминь,— сказал поп, взглядом призывая осужденного повторить. Тот помолчал, потом, двинув губами, беззвучно произнес пересохшим ртом: «Аминь».

Его руки, скользнув по кожаному переплету, упали обратно на колени. Поп отошел, и вперед выступил директор.

— Не желаешь ли что-нибудь сказать напоследок? Что угодно...— сказал он театральным голосом.

Осужденный будто не слышал.

— Покуришь? — спросил опять директор и протянул сигарету с золотым ободком.

Осужденный проводил взглядом руку директора, чуть помедлив, взял сигарету и засунул ее в рот до половины, но сигарета осталась совершенно сухой. Бригадир вынул из канделябра свечу и дал ему прикурить. Осужденный несколько раз порывисто затянулся и, захлебнувшись дымом, закашлялся. Пепел сыпался на пол.

— Еще одну?

Директор опять протянул пачку. Осужденный выплюнул недокуренную сигарету и засунул в рот новую.

Бригадир снова поднес свечу, но смертник не стал затягиваться, и сигарета, почернев, тут же погасла.

— Я вижу, хватит,— сказал директор и подал нам знак. Я откинул белую штору, за которой был вход в камеру.

В камере было темновато, под потолком светилась одна голая лампочка. Мы с Хорибэ, взяв осужденного под руки, ввели его внутрь. Когда все вошли, бригадир задвинул штору.

Приговоренный едва переставлял ноги, и нам приходилось практически тащить его волоком. Увидев перед собой ступени эшафота, он резко вздернул голову, посмотрел вверх и что-то невнятно выкрикнул. Его вопль гулко отдался в камере.

Я посмотрел на эшафот. Осужденного надо было туда втащить.

Хорибэ первым стал взбираться по деревянной лестнице, он тянул осужденного за наручники. Я подталкивал его сзади, а смертник упирался и что-то кричал. Раза два он споткнулся о ступени, заставляя нас с Хорибэ хвататься за перила, чтобы не упасть.

Мы поставили осужденного в центре эшафота. Я надел ему на голову черный мешок и затянул его шнурком. Смертник тут же умолк и замер. Воспользовавшись этим, Хорибэ обхватил его ноги и, отворачивая лицо, чтобы уберечься от удара, стянул их мягким ремешком с застежкой. Осужденный начал вырываться, трести головой и кричать. Он без конца выкрикивал одно и то же слово, так что в конце концов я его разобрал. Это было чье-то имя.

Повторив его несколько раз, осужденный стал призывать другого человека, потом еще, словно вспоминая всех, кого знал. Некоторые имена были женскими. Напоследок он принялся звать женщину, носившую одинаковую с ним фамилию. Перед казнью все они зовут своих знакомых и близких. Почему — не знаю.

Мне хотелось поскорее со всем этим покончить. Хорибэ — тоже. Я поспешно взялся за конопляную веревку, свисавшую с прикрепленного к потолку блока, и затянул петлю на шею осужденного.

Все смотрели на нас снизу. Я увидел насупленное лицо директора, который с важным видом подал знак рукой. Мы с Хорибэ отскочили в сторону.

Люк с грохотом открылся, и на эшафоте остались только мы двое. Я заглянул в дыру, разверзшуюся у нас под ногами. Там было темно, ничего не видно.

Веревка, спускавшаяся с потолка в люк, медленно раскачивалась. Я подумал, что она похожа на маятник часов, отмеривающих время от жизни до смерти. В такт покачиванию веревки поскрипывал блок наверху. Его, видно, давно не смазывали.

Прошло довольно много времени, все ждали. Я вспомнил, что в момент, когда распахнулся люк, вспыхнула яркая молния. Но, может быть, мне это только показалось.

Положенное время истекло. В дверцу, находящуюся в основании эшафота, вошел инспектор с секундомером в руке, за ним — врач с фонендоскопом на шее. Свой портфель он оставил снаружи. Веревка вдруг ослабла и заскользила вниз...

Работа была окончена, и все вышли на улицу. Дождь прекратился, тучи начали рассеиваться. Застрекотали цикады. Ветерок шумел в ветвях гималайских кедров, сдувая с них дождевые капли.

Впереди нас с Хорибэ бок о бок шли поп и директор.

— Сегодня ничего прошло, — сказал Хорибэ.

— А?

— Говорю, поработали сегодня нормально.

— Пожалуй, — ответил я.

Из-за туч выглянуло солнце.

Когда мы вошли в комнату для охранников, там сидел Накагава в штатском.

— С возвращением, — сказал он, оглядев нас.

— Ты чего это здесь? Почему в штатском?

Глядя на Накагаву, я снял и отшвырнул белые перчатки. Он посмотрел на них, но тут же отвел взгляд.

— Я...— начал он.

— А? — обернулся к нему Хорибэ.

— Уволился,— решительно закончил Накагава.

— Что? Кто тебя уволил? — спросил Хорибэ.

— Никто.

— Так в чем дело?

— Я сам так решил,— ответил Накагава.

Хорибэ посмотрел на меня. Я отвел глаза и закурил сигарету.

— Я, наверное, плохо поступил,— сказал Накагава,— но мне это...

— Не под силу, а? — закончил за него Хорибэ. Накагава покраснел.

— Другую работу нашел? — спросил я.

— Нет пока. Хочу домой съездить, поразмыслить.

— Ну-ну.

— ...

— Ладно, ничего,— сказал Хорибэ.— Найдешь себе другую работу. Ты парень молодой, неженатый.

— Я вам напишу.

— Ага, напиши. Слушай, а может, ты все-таки поторопился?

— Может быть. Но я уже билет купил. Боялся, что передумаю.

— Понятно...

— Спасибо вам за все.

— Да не за что.

— Счастливо.

— Пока.

— Ага.

— До свидания.— Накагава вышел из комнаты. Ноги при ходьбе он больше не приволакивал. Мы с Хорибэ сидели на диване и молчали.

— Ты видел, как он смотрел? — спросил Хорибэ.
— А?
— Видел, говорю, как он смотрел на нас?
— Дрожал немного.
— Такую рожу соорил, будто на гадюку наступил.
Хорибэ встал, взял у меня из пачки сигарету и посмотрел на белые перчатки, валявшиеся на столе.
— Зло меня берет.
— Меня тоже, — сказал я.
— Слюнтяй чертов.
Хорибэ сердито подошел к окну и отдернул шторы.
— Ладно, кончай, — сказал я.
Снова проглянуло солнце, ярко осветив все углы комнаты.

V

После казни мне полагался отгул, и на следующий день мы с женой и детьми отправились на море. Мы поднялись на высокий холм. Внизу расстилался океан, дул сильный ветер.

Дети кубарем скатились по раскаленному песку, радостно визжа.

— Ой, волны высокие, — сказала жена.

— Угу.

— Ничего? Не опасно? — спросила она, придерживая рукой соломенную шляпку с красной лентой.

— Здесь — опасно, — ответил я. — Есть место потише.

Я взял у жены корзинку с провизией, и мы спустились вниз, к детям. Вблизи волны казались еще выше. Когда они откатывались, обнажая морское дно, детишки бросались подбирать ракушки и камушки.

Разувшись, мы пошли вдоль берега по воде. Волны мочили нам ноги до колен и откатывались прочь. Кипящая пена и морская вода влекли за собой, словно хотели утащить в глубину.

Вскоре мы вышли к бухточке, окруженной скалами.

Здесь было мелко, большие волны сюда не доходили, а вода была чистой и прозрачной.

Жена раскрыла под скалой большой красно-белый зонт, расстелила на песке клеенку и стала доставать из корзины сок и бутерброды.

Я раздел сыновей до плавок и пошел с ними купаться. Песок на дне, где поглубже, был холодным. Мы стали брызгаться водой, а жена, смеясь, смотрела на нас с берега. Потом я выплыл на глубину и нырнул. Дно было освещено солнцем, моя тень скользила по волнистому песку. Стайка рыбешек бросилась от меня врассыпную.

Наплававшись, я улегся загорать на разрушенных мостках, нагретых солнцем. Дети что-то строили на берегу из песка. Потом я вернулся к жене, вытерся полотенцем и выпил пива.

— Какое место хорошее,— сказала жена.

— Лучше, чем дома сидеть, а?

— Ага. И для маленького, наверное, полезно.

— Угу.

— Что с тобой? — спросила жена, заглядывая мне в лицо.

— Ничего.

— Да нет, я же вижу. Еще со вчерашнего дня.

— Может, и так.

— Как дела у Накагавы?

— Уволился.

— Правда? Почему?

— Не понравилось.

— До такой степени?

— Вроде бы.

Я зрял пустую бутылку в песок, оставив торчать одно горлышко. Жена достала мне из кармана рубашки пачку сигарет. Вытерев руки полотенцем, я закурил.

— Не годился он для вашей работы,— сказала жена.

— А я гожусь, что ли?

— Не знаю. Хорибэ-сан, наверно, годится.

— Наверно.

— Он — годится.

Волна смыла гору из песка, нарытую детьми.

— Ой! — вскрикнула жена.

— Ты что?

— Нет, ничего. Ребенок шевельнулся.

— А-а.

Жена смотрела вдаль, на белые рыбацкие суда.

— Вот подрастут дети, узнают, где я работаю, что они скажут?

— Почему ты спрашиваешь? Ты никогда об этом не говорил.

— Так,— сказал я,— попробовал себе представить.

Рыболовецкие суда разом загудели. Испуганные чайки взлетели с волн и кругами стали подниматься в небо.

Жена громко позвала детей. Они побежали к нам, расшвыривая песок.

Наш выходной

Мы не спеша идем по тропинке через широкое поле. Шагая плечом к плечу, мы занимаем всю дорожку от края и до края. И спереди, и сзади насколько хватает глаз в том же направлении топают группки парней и девчонок, держащих в руках сумки с купальными принадлежностями. Многие — в основном девушки — в шляпах с широкими полями, чтобы не напекло голову. Шляпы все больше белые, украшенные лентами с цветными узорами. От ярких красок, играющих на солнце, немного рябит в глазах.

Сейчас лето. И тропа, по которой мы идем, и огороды, и невысокие холмы, и дома на равнине — все залито лучами летнего солнца. Воздух будто переливается от жары, время к полудню. Скоро час, как мы выбрались из конуры, которую снимаем вчетвером.

Дорожка петляет по полям и в конце концов выводит на приморскую набережную. По ней непрерывным потоком катят машины. Море слегка колышется, вроде как вздыхает, на его темной глади не видно ни суденышка. Но все идут купаться не на море: чуть дальше, слева от дороги, на огромном прямоугольном участке, где еще недавно были рисовые поля, весной закончили строительство здорового бассейна.

Трое из нас в темных очках с фиолетовыми стеклами, отчего весь окружающий мир кажется нам окрашенным в спокойный голубоватый цвет. У четвертого глаза не защищены, и он жмурится от солнца. В скором времени он собирается приобрести большие зеркальные очки с посеребрёнными стеклами.

Мы — друзья и всюду ходим только вместе. Ну и всегда разговариваем между собой.

Едва завидев слева бассейн, народ как по команде

поворачивает головы в ту сторону. И правда, трудно оторвать глаза от голубой воды, прозрачных брызг, скопления голых тел. Доносится громкая, развеселая музыка, пронзительные свистки дежурных, видно, как по траве разгуливают раздетые люди.

Я в этом году иду купаться впервые, и мне вдруг вспоминается прошлое лето — ощущение попавшей в нос воды, шумная сутолока бассейна.

Мы все охвачены радостным нетерпением и, не сговариваясь, ускоряем шаг. Нас обгоняет компания из пяти человек — парней и девушек, — звеня на бегу мелочью в карманах.

— Кретины! — кричит им вслед один из моих товарищей. Но мы и сами, не утерпев, припускаем рысцей и, срезая путь, сбегает вниз по насыпи. Касса находится в будке, сделанной под горную хижину, ее стены и крыша выкрашены яркой краской. Молодые мужчины и женщины с билетиками в руках выстроены в очередь по двое. Очередь быстро всасывается внутрь через узкие ворота, похожие на проходную.

Мы покупаем билеты каждый для себя, как всегда, чтобы не создавать лишних поводов для ссор. Билет стоит не дорого и не дешево — так, по-среднему, хотя комплекс выглядит как конфетка. А может, это оттого, что он открылся совсем недавно. Тут несколько небольших бассейнов, полно раздевалок, буфетов, киосков, трамплинов для прыжков и всего такого. Ну и территория, конечно, дай боже. Восточного края отсюда даже не видно — так он далеко.

В маленьких сарайчиках-раздевалках страшная толкотня — так и пихают со всех сторон. Кто-то орет как ошпаренный. Народ, переодеваясь в плавки, вовсю работает коленями и локтями, отчего в раздевалке еще теснее. Полиэтиленовых пакетов, куда положено складывать верхнюю одежду, не хватает, да и пристроить их особенно некуда. Мы четверо встаем кружком, кладем пакеты в середину, на пол, и поспешно запикиваем в них свое барахло.

Хотя лето в разгаре, никто из нас еще не успел загореть — один блеее другого. Захватив полотенца и кошельки, мы снова выходим наружу, на яркий свет. В раздевалку тут же с гоготом и криками бросается компания парней с билетами в руках — они только что протиснулись через ворота. Один из нас, беспокоясь за оставленные в раздевалке вещи, оборачивается — он сегодня надел новые штаны. Но мы успокаиваем его и идем дальше.

Снаружи территория бассейна казалась огромным лугом, но вблизи видно, что это просто газон с коротко подстриженной травой. Идти колко, но все же лучше, чем топтать по раскаленному бетону. Пройдя мимо круглого детского лягушатника, мы направляемся к самому дальнему бассейну, расположенному ближе всего к морю.

— Совсем отощал,— бормочет тот из нас, который без очков, оглядывая свою грудь и оттягивая кожу.— Нет, вы только посмотрите.

— Все такие,— отвечает ему другой. Он у нас самый головастый. Он в этом абсолютно уверен, да так оно, в общем, и есть. Без него мы вряд ли смогли бы прожить все вместе целых два года. Он и работу подыскал, и объяснил, что нам лучше всегда держаться вместе.

— Это от жратвы,— вставляю я слово.— Вот если б мы могли каждый день покупать все, что нам хочется...

— Не, это лето виновато,— возражает Головастый.

Возле лягушатника, воды в котором — взрослому по колено, сидят папаши и мамыши, наблюдая за своим потомством. У водяной горки шум, брызги, визг, детский смех. Какая-то тетка, наверное одна из мамаш, громко кричит.

— До конца лета еще, поди, отощаю,— говорит тот, который без очков.— Хотя больше вроде бы уже некуда.

— Ничего,— успокаивает его Головастый,— это только до осени. А там снова наберешь.

— Так можно и не дожидаться.

Он встречается со мной глазами и тычет пальцем в свою тощую грудь, на которой можно запросто пересчитать все

ребра. Он вообще хилый, и пальцы у него тонкие, как у девушки. Когда эпидемия гриппа, он всегда заболевает первый.

Бассейнов на территории всего пять, считая и те, которые еще не достроены. Между ними — зеленый просторный газон, в общем, похоже на парк. Только вместо деревьев всюду желтые скамейки. Правда, никто на них не садится — люди лежат или сидят на траве. Кажется, что солнце хочет спалить все эти обнаженные тела.

По границе комплекса — новехонькая изгородь, опутанная колючей проволокой, — это чтобы никто не проник к воде забесплатно.

По каменным ступеням мы поднимаемся к большому бассейну для взрослых. Из здоровенной стальной трубы в него льется поток воды. Вода холодная, из водопровода, поэтому мало кто отваживается плавать — люди, едва спрыгнув в бассейн, тут же вылезают обратно и заматываются в полотенца. Публика процентов на девяносто — молодые ребята и девчонки, а стариков почти совсем нет.

Мы безо всякой разминки сразу сигаем в бассейн. Вода подхватывает тело, брызги заливают глаза. Раздается оглушительный свисток, но до нас не сразу доходит, что он относится к нам.

Я прекращаю заплыв и вместе с остальными товарищами оборачиваюсь к вышке со стулом, вроде судейского кресла на теннисном корте. Там сидит молодой парень в широкополой шляпе, весь черный от загара. Он снова оглушительно свистит и жестом подзывает нас к себе. Все поворачивают головы в нашу сторону.

Этот тип со своей вышки начинает вправлять нам мозги насчет того, что плавать поперек бассейна запрещено — мол, можно с кем-нибудь столкнуться.

Мы вылезаем из воды и молча подходим к вышке. Дежурный сбавляет тон и пускается в длинные объяснения.

— Эй, ты, — говорит ему один из нас, — ты чего это так высоко забрался?

— Ага,— поддакиваю я.

Загорелый парень замолкает на полуслове и отводит глаза в сторону.

— Ну-ка, дунь еще разок в свою свистульку,— просит его наш Головастый и слегка трогает двумя пальцами свисающую сверху ногу дежурного.— Давай-ка посвисти еще.

Тот, который без очков, стоит на стреме, а я и еще один начинаем раскачивать вышку. Парень смотрит куда-то вдаль, делая вид, что не обращает на нас внимания.

— Слезь-ка на минутку,— угрожающе говорит Головастый.— Устал, поди, сидеть там, наверху.

— Нет, ничего,— отвечает парень, но по-прежнему на нас не смотрит.— Я должен быть тут.

— Ты студент, да? — спрашиваю я, обматывая кулак правой руки полотенцем.— Оглох, что ли?

— ...Да,— мямлит парень.

— Молодец какой,— говорит Головастый.

— Господин студент, надо же!

— Большая шишка,— добавляю я.

— Что ж ты рассвистелся-то? — спрашивает самый длинный из нас.— Курам на смех.

— Ну как,— говорю я,— слезешь или нет?

Парень сидит, крепко вцепившись в свисающий с шеи свисток, и упорно молчит. Пока он сам не слезет, сделать с ним ничего нельзя. Наконец нам надоедает, и мы идем к киоску, возле которого оставили свои очки. Мы шагаем прямо через толпу, и все расступаются, освобождая нам дорогу. Некоторых лежащих мы походя задеваем ногами, но они помалкивают.

Усевшись спиной к изгороди, мы рассматриваем купающихся. Никто косых взглядов на нас не бросает, а дежурный все еще трясется у себя на вышке.

На тропинке, ведущей через поля, народу стало еще больше, возле кассы образовалась очередь. Вдали, за лягушатником,— трамплины для прыжков в воду, там тоже

выстроился длинный хвост. Самая высокая вышка — пятиметровая, есть еще трехметровая и метровая. С пятиметровой почти никто не прыгает, а если кто и рискнет, так только солдатиком, причем все как один в полете теряют равновесие и шлепаются об воду животом или спиной. Народ смотрит и гогочет.

От жары равнина кажется вогнутой, разбросанные по ней поля и огороды сохнут под палящими лучами солнца. А вдали, у горизонта, под желтым небом виднеется скопление домов. Самый большой, самый распрекрасный город, если взглянуть на него очень издалека, похож на чирей, выскочивший на поверхности земли. Ну а уж дома, в котором мы живем, и подавно не разглядеть, его просто нет. Получается, что и нас самих вроде нет. Но мы-то есть, вот они мы: сидим на траве около бассейна и загораем. Мы — есть, тут всё без дураков.

Когда мы нанимались на работу, хозяин, узнав, что мы всегда держимся вместе, сказал: «Да вы вчетвером за одного не наработаете». А по-моему, мы вчетвером стоим пятерых или даже шестерых. Нет дела, которое было бы нам не по плечу. А если и есть, то все равно нам гораздо легче, чем тем, кто держится поодиночке. Да и потом, вместе не скучно. Мы были вместе у себя в деревне и здесь, в городе, тоже вместе — и на работе, и дома, и вообще везде. Мы прожили вчетвером два года, и совсем неплохо прожили.

Искупавшись разок всей командой, дальше мы залезаем в воду, кому когда захочется. Сейчас как раз двое наших плывут наперегонки, а я и тот из моих друзей, который без очков, лежим на траве, подставив спины солнцу.

— Пять раз туда и обратно — кто победит, как думаешь? — говорю я.

— Не знаю,— отвечает он. Он совсем не смотрит на бассейн и время от времени жмурится, как будто сдерживая боль.

— Ты чего, заболел? — спрашиваю я на всякий случай.

— Да нет, просто двигаться неохота.

— Ну тогда скажи, кто победит.

— А мне наплевать.

Он снова закрывает глаза и опускает голову. Двое наших, уже трижды пересекшие бассейн туда и обратно, кажется, здорово выдохлись.

— Ты точно в порядке? — снова спрашиваю я.

— Угу,— отвечает он, не открывая глаз.— Просто я думаю.

— Чего? Думаешь? О чем это ты можешь думать?

— Мало ли.

— А, понял. Ты опять о том же.

— Да, о том же.

— Ну, вернешься ты, а дальше что?

— Беспокоюсь я.

— Конечно, как же о доме не беспокоиться?

— Места себе не нахожу.

— Скучота там.

— А тут не скучота? — спрашивает он.

— Да уж получше, чем там,— отвечаю я.

Он открывает глаза и быстро поднимается на ноги. Я думаю, что ему захотелось окунуться, но он бежит вдоль забора. Вдруг он перегибается пополам, и я вижу, как по его телу проходит судорога. Все выглядит настолько странно, что я поначалу не могу понять, чем он там занимается. Ей-богу, ведь он ко мне спиной. Но здесь тот, который без очков, как горная коза, когда ей сделают усыпляющий укол, бессильно сползает на землю у забора. Я вскакиваю и бегу к нему.

Он, оказывается, блюет. Наполовину переваренный завтрак растекается лужей по траве. Двое наших, почуяв неладное, прекращают свои игрища и тоже спешат сюда. Я растираю приятелю спину — она у него такая же хрупкая и костлявая, как грудь. Такое ощущение, что прикасаешься к ребенку. Беднягу всего трясет.

Наконец рвота прекращается, и он с трудом поднимается на ноги, стягивает с себя полотенце и вытирает рот и руки.

Потом, чтобы мы не смотрели на лужу, первым идет на прежнее место. Никто из окружающих не обратил внимания на это маленькое происшествие. Все наслаждаются солнцем, купанием, выходным днем.

— Ничего, ничего...— бормочет наш товарищ, у него несет изо рта.

Мы садимся на траву, раскинув ноги.

— Да ладно, ерунда...— все повторяет он.

— Как это ерунда, если тебя прямо наизнанку вывернуло,— говорю я.

— Съел что-нибудь не то,— предполагает Длинный.— На такой жаре продукты в два счета портятся.

— Мы все ели одно и то же,— возражает ему Головастый.— Он, наверное, заболел.

— Если заболел, надо отвести его к врачу,— говорю я и прикладываю ладонь ко лбу товарища, чтобы проверить, есть ли температура. Вроде бы нет, хотя, может, просто кожа остыла от купания. Он сердито трясет головой и сбрасывает мою руку.

— Я же сказал: все в порядке,— говорит он, не разгибаясь.— Сейчас посижу малость, и все пройдет...

Он разозлился не на шутку. Я впервые вижу его таким. Обычно, что бы ни происходило, он никогда не выходит из себя. Ребята предлагают вернуться домой, но он — ни в какую.

— Я провожу тебя,— говорю я.— Пойдем.

— Вот еще,— отвечает он,— целый час туда тащиться. Лучше уж я здесь отлежусь.

Больше нам не удастся ничего от него добиться, и мы оставляем его в покое. Не хочет — не надо. Мы закуриваем и сидим себе смотрим по сторонам. Говорить не хочется. Немного погодя мы решаем перебраться в тень — за буфет, устроенный под большим тентом. Через щель в пологе палатки нам видны ноги продавщиц. Здесь меньше слышен шум от бассейна, но зато громче стал шелест волн и рычание несущихся по дороге машин.

Усевшись, мы смотрим на нашего товарища, лежащего на боку. Ничего другого нам не остается — никто из нас не знает, что надо делать в таких случаях. Мне приходит в голову: вдруг он возьмет да и умрет. От этой мысли сердце тоскливо сжимается, но я тут же говорю себе, что в такую чудесную погоду здесь, среди голых веселящихся людей, этого никак не может быть. Подумаешь, поблевал немного. Длинный снимает свои очки и надевает их на нос приятелю, чтобы солнечный свет не слепил ему глаза. Я иду в палатку, беру бумажный стаканчик и приношу воды. Наш товарищ отпивает пару глотков и снова ложится лицом вниз.

Мы втроем начинаем рассуждать вслух, отчего его могло вырвать. И на ужин, и на завтрак мы все ели одно и то же, так что еда тут явно ни при чем. Наверное, это у него оттого, что он прыгнул в холодную воду безо всякой разминки. А может, и правда чем-нибудь болен. В общем, ни к какому определенному выводу мы так и не приходим.

Тут наш приятель медленно приподнимается с земли и улыбается нам, но улыбка у него выходит какая-то вымученная, лицо белое, да и вообще видок так себе.

— Ладно, поехали домой,— говорит Длинный.— Все вместе.

Мне неохота. Хочется еще поплавать, а главное — обидно в воскресный день торчать в душной комнате. Там, даже если раздеться догола, можно подохнуть от жары, просто голова раскалывается. К тому же мы потратились на билеты, и денег сходить потом еще куда-нибудь уже не осталось.

Прошлым летом в дни, когда у нас за душой не было ни гроша, мы спасались от жары по универсамам: листали у газетных киосков журналы, рассматривали товары в отделах игрушек, глазели на фотографии. Там было хорошо и прохладно, но так удавалось убить, может, каких-нибудь полдня, не больше. Тогда мы придумали вот какую штуку: я и еще один встанем на стреме, а другие двое будут воровать и прятать в сумку товары. Если повезет, думали мы, то по крайней мере на билеты в кино хватит. Мы решили

выбрать самый многолюдный отдел и вошли в него, но когда дошло до дела, пороху у нас не хватило. Чем больше мы там топтались, тем скованнее становились движения, и я чуть не дал оттуда деру в одиночку. Наше поведение вызвало подозрение у продавца, и все закончилось тем, что мы спросили, сколько стоит транзисторный приемник. До тех пор, пока мы не вышли из универмага, за нами, не отставая, следовал один из служащих.

— Жарко там, в комнате, — говорю я. — С ума сойдешь.

— Конечно, — соглашается тот, который блевал. Он снимает очки и возвращает их владельцу. — Здесь куда лучше.

— Ты правда так думаешь? — спрашивает Длинный.

— Да я уже в норме. Самому-то виднее.

— Ну, тогда остаемся, — говорю я.

Наш Головастый просовывает руку под полог тента и пытается ухватить девчонок-продащиц за ноги. Они весело визжат и хохочут.

Бассейн уже набит битком, и чем становится жарче, тем больше прибывает народу. Всюду полно людей — и на тропинке, ведущей через поле, и возле нас, и в воде. Двери раздевалок закрыты, и вновь прибывшим приходится переодеваться прямо снаружи. Для женщин служители бассейна натянули специальную большую палатку.

Договорившись по очереди сидеть с нашим товарищем, мы трое по несколько раз бегаем купаться. Вода все такая же холодная. Если попробовать плыть кролем, обязательно на кого-нибудь наткнешься, а если брассом, то задеваешь других пловцов руками. Длинный, который купается вместе со мной, нарочно плавает так, чтобы сталкиваться с девушками. Столкнувшись, он очень вежливо извиняется и тут же пытается познакомиться: кто вы, да откуда, да одна ли пришли и все такое. Но он чересчур шустрый — не успев поговорить, лезет обнимать за талию, и ничего у него не выходит. Каждый раз, получив от ворот поворот, он оглядывается на меня и высовывает язык. Потом, притомившись, плывет ко мне.

— Глухо,— говорит он.— Ни одного стоящего кадра.

— Еще бы! — отвечаю ему я.— Нам нужно найти компашку из трех-четырёх подружек.

Мы садимся на край бассейна, свесив ноги в воду. На противоположном конце двое наших лежат в тени. Они машут нам рукой, и мы отвечаем им тем же.

— Неужто он заболел? — спрашивает Длинный.

— Похоже,— отвечаю я.— Он хочет домой.

— Куда домой?

Длинный смотрит сначала на меня, потом, через бассейн, на того, который блевал.

— Это к родителям, что ли?

— Ну да. Куда же еще?

— Да что там делать, в этой деревне? Чем он там собирается заниматься? Чушь какая-то.

— Да нет, он серьезно.

— Если серьезно, значит, он правда заболел. Уж меня-то обратно ни за какие коврижки не затащишь. От одной мысли в дрожь кидает.

— Меня тоже,— соглашаюсь я.— Дурак, ей-богу.

— Круглый.

Двое сидящих на том краю бассейна молча смотрят в разные стороны, кажется, что они незнакомы друг с другом. Один, обмотав голову полотенцем, разглядывает проходящих мимо девиц, а второй сидит, понуриив голову и обессиленно сложив тощие руки на животе.

— Да ну, ерунда,— говорит Длинный.— Он пошутил.

— Когда это он шутил? — отвечаю я.

Ноги в воде занемели от холода. Сверху жарко, снизу зябко. Мне хочется еще разок сплывать, но бассейн забит до отказа. Все просто стоят в воде на одном месте.

— И что все сюда набились? — говорю я.— Лучше бы на море поехали.

— На море то же самое. Пойдем, что ли, к ним.

Мы возвращаемся к нашим, а потом все вчетвером идем к трамплинам. По дороге заворачиваем в самую большую

палатку и перекусываем соком и бутербродами. Тот, который блевал, пьет только сок. Все молчат, сосредоточенно работая челюстями. Я бы еще чего-нибудь съел, но надо оставить денег на ужин. До зарплаты еще целая неделя. Остальные трое в таком же положении.

Мы садимся рядом на широком газоне сбоку от трамплинов. Здесь поменьше народу, чем у того бассейна, и трава почище. Кругом одна молодежь, все загорают на солнце. Нырятьщики поднимают фонтаны брызг, а за забором виднеется море. Оно сверкает и переливается, даже сквозь темные очки слепит глаза, и я шурюсь от нестерпимого сияния. Ни в море, ни на берегу никого не видно. От высоких деревьев мертвой сосновой рощи до полосы прибоя тянется черная полоса грязи, от которой накатывающиеся на берег волны становятся бурыми. Масляные пятна переливаются всеми цветами радуги. Начинается отлив.

Мы молчим, расположившись на колючей траве, сверху нещадно палит солнце. Слева от меня тот, который блевал, глаза у него закрыты, но, по-моему, ему лучше. Остальные двое лежат справа. Спать неохота, но сил подняться и куда-то идти нет. Мы устали от плавания, нас разморило. Мне в голову начинают лезть разные мысли. О доме, например. Два года, как я уехал оттуда, и ни разу даже не наведалься. Нет, один раз уже было решил вернуться и даже дошел до вокзала, но пришлось долго ждать поезда, и я передумал. Сдал назад в кассу билет и сходил на эти деньги в кино. Во время сеанса я ни о чем не думал, а потом долго ходил по вечерним улицам. Холодище был страшный. Мне вдруг захотелось поговорить с какой-нибудь девчонкой моего возраста, и я обошел все знакомые забегаловки, но так никого и не встретил. Когда я вернулся домой, свет не горел, наши все уже спали. В тесной комнате было холодно и пахло винным перегаром. Я расстелил спальный мешок, плеснул из бутылки полстакана виски, выпил и улегся. От шума проснулся Длинный. Я объяснил ему, что передумал. Он несколько раз кивнул и тихо что-то про-

бормотал, я толком не разобрал что. А переспрашивать не хотелось. Тепло от выпитого виски разлилось по телу, и я уснул.

Мой приятель справа локтем толкает меня. Он показывает пальцем куда-то вперед и посмеивается. Там пять девушек танцуют под музыку, гремящую из динамиков. У всех прямые волосы до плеч и похожие купальники. Ничего особенного в них нет, таких везде полно, да они и не единственные танцуют. Просто они тут, рядом с нами.

— А? — говорит приятель, снова пихая меня локтем в бок. — Ничего?

Я оценивающе разглядываю девушек. Затей они свои танцы немного поближе, можно было бы рассмотреть и лица, но пляшут вроде ничего, да и ножки неплохие.

— Количество подходящее, — говорю я.

— Пятеро — это хорошо, — соглашается он, — хотя лучше бы, конечно, четверо.

— Ну, так что будем делать?

— Сейчас заговорю с ними.

— А сможешь?

— Пара пустяков.

— Ну давай.

— Только, чур, я выбираю первый.

— Идет, — соглашаюсь я. — А что потом-то?

— Это как получится.

— Тут ведь и пойти-то некуда.

— Там видно будет.

Он встает, стряхивает с живота налипший сор и вразвалочку направляется к девушкам. Уж он-то сумеет подъехать как надо. Я излагаю наш план остальным. Тот, который блевал, мельком взглядывает в ту сторону и закрывает глаза.

Девчонки танцуют, образовав кружок, у них здорово получается. Наш товарищ, не смущаясь их количеством, идет прямо к ним. Одна из девиц оборачивается, он снимает темные очки и, помахивая ими в такт музыке, начинает пританцовывать, говоря ей что-то. Кажется, он сразу при-

ступил к делу, потому что девчонки перестают плясать и обступают его.

Нет, он у нас и впрямь молодец — ведет сюда весь выводок. Я тоже снимаю очки и машу им рукой. Девицы садятся полукругом на газон и изучающе рассматривают наши лица. Пять пар раскинутых на траве ножек поблескивают под жаркими лучами солнца. Вблизи видно, что ноги так себе, могли бы быть и получше.

— Вас только четверо,— разочарованно тянет одна из девиц.

— А вам нужно обязательно пятеро? — спрашивает Длинный.

— Мне как-то все равно,— говорит другая.

— Ладно, чего там, давайте знакомиться,— подхватывают остальные.

Девчонки врут о себе невесть что, мы тоже заливаем с три короба. Потом играем в разные дурацкие игры вроде угадывания, сколько сорванных травинок в руке, бегаем окунуться в бассейн. Но тот наш приятель, который блевал, все лежит на траве, не раскрывая рта, и портит нам всю музыку. Когда какая-нибудь из девиц спрашивает его о чем-то, он не отвечает, даже головы не поворачивает. Просто неподвижно лежит с закрытыми глазами. Он у нас приболел, объясняет Головастый.

Девушка, которая у них как бы за главную, оглядев всех нас по очереди, заключает:

— Выходит, вас только трое.

— Почему трое? Четверо! — возражает Длинный.

— Так он же болен.

— Нездоровится немножко, только и всего.

Они собираются в кучку и начинают вполголоса что-то обсуждать.

— Нас-то пятеро,— говорит одна.

— Ну и что? — пытается вмешаться Головастый. Он сидит рядом с одной из девушек и, положив ей руку на колено, барабанит по нему пальцами.

— А больше у вас приятелей нет? — спрашивает все та же решительная девица.— Еще двое-то, поди, найдутся, а?

— Все, что есть, тут,— говорю я,— нас четверо.

— Не четверо, а трое.

Чтобы сменить пластинку, я начинаю рассказывать про фильм, который недавно видел. Но девушки меня не слушают и все повторяют одно и то же: «Вас трое, нас пятеро, нас пятеро, вас трое...»

— Да чего это нас трое? — не выдерживаю я.— Четверо нас, поняли?

Они замолкают.

— Ах, извините, что нас так мало,— окончательно завожусь я.— И вообще, катитесь отсюда к чертовой матери!

Все на этом и кончается. Девицы, переглянувшись, встают и уходят к соседнему бассейну, до которого метров пятьсот. Скоро они исчезают в толпе голых тел.

— Ну и баб ты подцепил! — говорю я.— «Вас трое», ты слышал, а?

— Да это они кокетничали,— вступается за девиц Головастый.

— Дуры они, и больше ничего.

— Точно,— поддерживает меня Длинный.— Выходит, зря я их клеил.

Тот, который блевал, лежит, прижавшись животом к земле, как будто все, о чем мы говорим, ему совершенно безразлично. Может, на него снова накатило? Мы ложимся рядом и подставляем спины солнцу. Тело наливается тяжестью, языком шевелить и то неохота.

Кругом шум и галдеж, но весь этот трамтарарам заключен в пределы забора с колючей проволокой, а за ним — тишина и покой. На поле крестьяне, пользуясь тем, что дует легкий ветерок, распыляют известь. Им, наверное, нет дела до воскресенья, для них главное — урожай. Несущиеся по дороге автомобили того и гляди запылают от жара, исходящего от раскаленных небес. Я ловлю пчелу — осторожно, чтобы не ужалила, отрываю ей крылышки и пускаю

ползать по земле, а сам смотрю. Пчела не понимает, что крылышек у нее нет, и, яростно трясая спинкой, пытается взлететь. Я гоняю ее взад-вперед спичкой.

Вдруг у вышек для прыжков в воду становится шумно и собирается целая толпа народу. Все вылезает из воды и, сбившись в кучу, стоит на краю бассейна. Это служитель в шапочке без козырька объявил перерыв. Из раздевалки выходит какая-то девица и идет к трамплину, на ходу переговариваясь с мужчиной, обвешанным фотокамерами. Камеры здоровенные — я таких раньше не видал. Девица в крошечном бикини, а фотограф — в рубашке и брюках. Оставив приболевшего товарища лежать, мы втроем тоже идем смотреть. В самом центре толпы устанавливают на треногу фотоаппарат, а манекенщица встает в позу на метровой вышке. На ней густой слой косметики, и она, как небо от земли, отличается от женщин, глазеющих на нее из толпы. Когда я смотрю на эту красотку, у меня даже дыхание перехватывает.

Манекенщица принимает разные позы, затвор фотоаппарата щелкает и щелкает.

— Кривляка, — говорит Длинный, но я вижу, что он тоже взбудоражен.

Потом девица поднимается на пятиметровую вышку и по указанию фотографа делает вид, что изготовилась к прыжку: разводит в стороны руки, сгибает колени и приподнимается на цыпочках. «Сильнее наклонись вперед! Вдаль смотри!» — кричит снизу мужчина. Мне вдруг кажется, что и трамплин, и небо, и солнце, и равнина созданы специально для этой девушки.

Съемка заканчивается, и манекенщица собирается спускаться. «Ой, высоко, боюсь!» — кричит она фотографу, и он, поднявшись по лесенке, сводит ее вниз за руку.

— Фу-ты ну-ты, — роняю я.

— Не говори, — соглашается приятель.

Толпа расходится, все потихоньку расползаются на свои прежние места, обсуждая манекенщицу. Никто не говорит

о ней доброго слова: женщины утверждают, что красоты тут никакой нет — сплошная косметика, мужчины считают, что она слишком дерет нос. Мы промеж себя тоже отзываемся о ней не слишком лестно.

Наш больной товарищ уснул. Рот у него приоткрыт, он по-настоящему спит. Я накрываю его лицо полотенцем.

— Ничего, что он здесь спит? — спрашивает Длинный.

— Он может разболеться не на шутку, — говорю я. — Давайте отправим его домой, в деревню, а?

— Это еще зачем? — спрашивает Головастый.

— Ничего, проживем и втроем, — говорю я. — Каждому придется платить за комнату немного побольше, только и всего.

— Это уж как он сам захочет.

— Да он хочет вернуться, просто нас стесняется.

— Если хочет, пускай едет.

— Так что, отправим его домой?

— Как это «отправим»?

— Ну, уговорим, все вместе.

— Вот ты и уговаривай, — заявляет Головастый. — А я не буду.

— Ладно, — соглашаюсь я. — Я ему скажу.

— Когда?

— Сегодня же вечером или завтра.

— Торопишься, да?

— Долго тянуть нельзя, — говорю я. — Мало ли что.

Длинный подобрал где-то журнал и перелистывает его. Тот, который блевал, спит беспокойным сном. Жарко, но здесь, ближе к морю, все время дует легкий ветерок, и, в общем, терпеть можно. У меня пересохло в горле, и я, зажав в кулаке мелочь, иду к палаткам. Вдруг мне делается странно оттого, что я шагаю сам по себе, один. Тело кажется непривычно легким, в руках не чувствуется силы, и весь я какой-то незащищенный. Обернувшись, я смотрю на товарищей, но толпа уже заслонила их. Пересчитав мелочь, иду дальше, решаю: чем покупать сок, лучше попить

из водопровода. Поэтому я сворачиваю к фонтанчику, смываю с лица пот и надуваюсь водой по самые уши. Внезапно меня охватывает жуткое озлобление. В последнее время такие неожиданные, беспричинные приступы ярости накатывают на меня часто, сам не знаю отчего. Вдруг хочется схватить кого-нибудь и бить, бить, бить — все равно кого. И плевать, что будет потом. Я распрямляю плечи, сжимаю кулаки и с ненавистью смотрю в лица встречным. Мысленно я одним ударом сбиваю с ног каждого из попадающихся мне по пути парней. Но никто не обращает на меня внимания, и все проходит само собой.

Мои товарищи сидят на газоне и разговаривают с незнакомым пожилым дядькой. Когда я подхожу, он приветливо здоровается со мной. На нем плавки, в каких ходят молодые ребята, и он, видно, пару раз искупался, потому что волосы у него мокрые. Я сажусь на траву между двумя приятелями. Тот, который блевал, все еще спит.

— Я тут расспрашивал кое о чем ваших друзей, — обращается ко мне мужчина.

— Есть местечко, где вроде платят побольше, — объясняет мне Головастый.

— А на сколько побольше? — спрашиваю я.

— Вдвое.

— Иди ты!

— Нет-нет, он не шутит, — говорит мужчина. — А через год зарплата повышается.

— А какой рабочий день?

— Такой же. Восемь часов. И никаких сверхурочных.

— А что за работа?

— Работа приятная, даже очень.

— Какая?

— А вот приходите завтра по этому адресу. — Мужчина достает из бумажника, который у него в руке, визитную карточку и протягивает нам. — Тогда и поговорим обо всем не спеша.

Мы передаем карточку друг другу, но там только назва-

ние фирмы, телефон и адрес, а чем они занимаются — непонятно.

— Ваша, что ли, фирма? — спрашиваю я.

— Нет, что вы! — отвечает мужчина. — Я так, мелкая сошка. Мое дело — подыскивать таких ребят, как вы.

— Что-то чудновато, — говорит наш Головастый.

Мы с Длинным доверяем вести переговоры ему, а сами сидим и слушаем.

— Почему чудновато? — удивляется мужчина.

— Что значит «таких, как вы»? Вы нас впервые видите.

— Я имею в виду, молодых и здоровых.

— Здесь таких и без нас навалом.

Мужчина в затруднении. Хочет что-то сказать, но не может подобрать слов.

— Я так думаю, — говорит Головастый, не дожидаясь объяснений. — Ты, дядя, набираешь кого ни попадя, только бы комиссионные сорвать. Дело ясное.

— Да ничего подобного! Наша фирма расширяет дело — вот и все.

— А может, мы какие-нибудь не такие, откуда ты знаешь?

— Вижу. Глаза у меня есть, я вижу, что вы отличные ребята.

Мы смеемся.

— Стало быть, зарплата вдвое больше, работа приятная, фирма — первый сорт и берут всех подряд, так?

— Так.

— Зачем же тогда ходить и подыскивать работников? Дали бы объявление в газету, и дело с концом.

Мужчина не кажется смущенным, но и не отвечает. Головастый тоже замолчал, ждет, как тот будет выкручиваться. Я не свожу глаз с лица незнакомца.

— Почему вы мне не доверяете? — говорит наконец он. — Я-то вам троим доверяю.

— Тот, который спит, тоже с нами.

— Ну, четверым доверяю.

— Можете не стараться.

— Почему?

— А потому, что мы вам все равно не поверим.

— Прямо не знаю, как с вами говорить,— вздыхает мужчина.

— Уж больно мягко стелете.

— Просто такие хорошие условия.

— А какая работа, не объясняете.

— Эх, была не была, расскажу.

— То-то, нас не проведешь.

— Ну слушайте.

Мужчина устраивается поудобнее и наклоняется к нам поближе. Лицо у него делается серьезным, и он, понизив голос, говорит:

— Это работа на корабле.

Мы удивлены.

— На каком еще корабле?

— На рыбацком.

— Наверное, какое-нибудь дырявое корыто.

— Суда у нас небольшие, это верно, но все содержатся в идеальном порядке.

— А зачем тогда надо было тень на плетень наводить?

— Пожалуй, вы правы, незачем... Ну как, согласны?

— А мы подойдем? Никто из нас моря и не нюхал.

— У нас все начинают с нуля. А что зарплата вдвое больше — гарантирую. И небольшие подъемные дадут.

— А куда плавать?

— К берегам Африки, на Марианские острова — в разные места.

— Далековато.

— Извините за вопрос, вы как, довольны своей нынешней жизнью?

— Довольны. Даже очень.

— А у нас вам будет еще лучше.

— Ну ладно. Мы между собой обмозгуем и завтра скажем.

— Что ж, будем вас ждать.

Мужчина, слегка поклонившись, закрывает бумажник.

— Жизнь человеку дается одна,— говорит он на прощание, снова кивает нам и деловитой походкой уходит прочь. Мы смотрим ему в спину. У трамплина он останавливается возле группы молодых парней и заговаривает с ними.

— Ну как, сходим завтра? — спрашиваю я.

— Не-а,— отвечает Головастый. Он рвет визитную карточку на клочки и подкидывает их вверх.— Все это сплошная брехня.

— А мне бы хотелось поплавать на корабле,— говорит Длинный.

— И мне,— поддерживаю его я.

— Бросьте,— урезонирует нас Головастый.— Вам что, жить надоело? Пусть они платят хоть в десять раз больше, жизнь-то дороже.

— Живем-то и впрямь один раз,— говорю я,— этот тип правду говорит.

— Ну и плевать.

— На что?

— Да на это.

Скоро вечер, но народу меньше не становится. Все торговые палатки забиты людьми, кругом кучи бумажек из-под мороженого и груды пустых бутылок. Из динамиков гремят без конца одни и те же мелодии. Мы лежим на траве и ничего не делаем. Тот, который блевал, все дрыхнет, как будто не спал несколько ночей подряд. Остальные двое тоже вроде как дремлют. Я начинаю разглядывать людей вокруг, но скоро мне это надоедает. Лица и фигуры разные, а в общем все похожи друг на друга, как близнецы. Все делают одно и то же, да и мысли, наверное, у каждого одинаковые. По эту сторону колючей проволоки ничего интересного нет, это ясно.

Я перевожу взгляд на море. Тихое, темное, оно вспыхивает ослепительными блестками. Кораблей нигде не видно, только вдаль торчит островок со скалистыми берегами, возле которых пенятся волны. В самой высокой точке островка

установлен маяк. Я, в общем-то, особой любви к морю не испытываю, но острова мне нравятся. Я бы хотел немного пожить на маленьком островке — тихом, уютном, где круглый год тепло и есть все необходимое для жизни. Когда мне не спится по ночам, я всегда представляю, как жил бы на таком острове. Иногда мне хочется, чтобы я был там один, иногда — чтобы с друзьями. В иные ночи я представляю, что оказался на острове вместе с девушкой. Но ее лицо каждый раз меняется, его черты вообще рисуются мне расплывчато, отчетливо я вижу только тело — от шеи и ниже.

Когда мы вчетвером только начинали жить вместе, нам нравилось слоняться по разным забегаловкам. Мы каждый вечер по ним таскались. И где-то через полгода, а то и раньше уже знали все места, где собираются ребята и девчонки нашего возраста. Там можно просидеть несколько часов за одной чашкой кофе. В одной такой кафешке, в которую надо спускаться по лестнице, как в метро, мы обычно знакомимся с девицами. Заговаривают, как правило, первые они. Мы разбираемся по парам, кому кто понравится, и разбредаемся. Я всегда сначала долго гуляю с очередной подружкой, а потом мы пристраиваемся где-нибудь в кустах, у обочины дороги, или на крыше дома. Один раз чуть ли не целую ночь проторчали в телефонной будке. Потом, когда дело сделано, девчонки обычно трещат без умолку, а я больше отмалчиваюсь.

К вечеру бассейн понемногу затихает. Все больше народу валит к раздевалкам, вход превращается в выход, а по тропинке через поля тянется вереница людей, идущих в обратную сторону. Но все равно здесь еще очень людно, по-прежнему светит солнце и страшная духота. Мы все четверо лежим как бревна, не в силах пошевелиться, и молчим. Тот, который подобрал журнал, время от времени читает нам вслух какую-нибудь шутку, но, кроме него самого, никто не смеется.

Заболевший — он слева от меня — наконец открывает глаза. Сняв с лица полотенце и увидев, что это мое, он воз-

вращает его мне. Когда я спрашиваю, как, мол, дела, он отвечает, что здорово выпался, трет глаза и улыбается. Но все-таки вид у него неважный. Спина и плечи медно-красные от загара, но здоровее от этого он выглядеть не стал.

— Отлично поспал,— тихонько повторяет он.

— Мы тут беспокоились,— говорю я.— Думали, уж не окочурился ли ты.

— Скажешь тоже. Сморило меня.

— Жрать, поди, хочется?

— Ага. Но я подожду до вечера, а то может снова вывернуть.

— Ну, давайте, что ли, собираться?

— Да рано еще.

— Может, не пойдем завтра на работу?

— Еще один прогул — и нас снова вышибут.

Весной нас вызвал тогдашний хозяин и сказал, что мы четверо ему больше не нужны. Мол, воруем детали, прогуливаем и все такое. А мы чихали на него — сейчас устроиться можно. На следующий же день нанялись на заводик, где делают картонные коробки. Новый хозяин оказался ничего — вежливый, не орет из-за ерунды. Если работаешь нормально, раз в два месяца устраивает двухдневные поездки куда-нибудь забесплатно. А перед самым летом подарил нам телевизор. Старый, изображение хреноватое, но смотреть можно. Мы поначалу после работы сразу шли домой, даже газеты покупали, чтобы знать программу. Потом это дело нам прискучило, и мы снова начали вечерами слоняться по улицам. Напивались, дрались, шлялись ночи напролет с девчонками. Но вино было — дрянь, после драк болели ушибы и ссадины, а с девицами брала тоска — все разговоры про одно и то же.

— Мы тут посоветовались между собой,— решившись, начинаю я,— может, тебе и правда лучше вернуться в деревню?

Он отвернул лицо в сторону моря и не отвечает.

— Не понравится там, можешь опять сюда двинуть,—

продолжаю я.— Ты ведь погулял вволю. Целых два года.

По-моему, он смотрит на остров.

— Работу найдешь и там. Ну, может, не первый сорт, но с голоду не помрешь.

Лицо у него нахмуренное, он думает.

— Ты только не думай, никто тебя не гонит. Понимаешь, а?

— ...Ага.

— Мы о твоём здоровье заботимся.

— Понятно.

Я замолкаю. Такое ощущение, будто я все это для себя говорил, а не для него. Ладно, ему решать. Он колеблется, переводя взгляд с моря на траву и обратно.

— Прямо не знаю,— наконец говорит он.— Неохота одному оставаться...

— Это верно,— соглашаюсь я.

— И потом, если я свалюсь как снег на голову, мои могут испугаться.

— Да они обрадуются.

— Обрадуются ли?

— Конечно обрадуются!

Я думаю, он уедет. Напишет письмо домой, соберет вещи, получит расчет, сколько ему там причитается, купит билет, и мы втроем проводим его на поезд. Дело ясное. А раз уехав, он сюда, наверное, уже не вернется. Духу не хватит.

— Надо сначала письмо написать,— говорю я.

— Угу,— соглашается он.

Ему, как и мне, пишут из дома раз в месяц. Два письма мать, третье — отец. Мать пишет, что беспокоится обо мне, а папаша — давай, мол, сынок, работай, работа — самое главное в жизни, и все такое. А я не знаю, что в жизни главное. Первые два раза я ответил, а потом и читать перестал. Когда приходит письмо из дома, я только рву конверт и смотрю, нет ли денег, а потом комкаю и выбрасываю.

Остальные двое наших, разморенные жарой, помалкивают. Я беру одну из немногих оставшихся сигарет, затяги-

ваюсь пару раз, потом бычкую ее и засовываю за ухо. Тот, который блевал, снова закрыл глаза.

Шум волн стал слышнее — ветер усилился, что ли. Откуда-то с улицы доносится гудок автомобиля. За восточной оградой бассейна расположены овощехранилища, под лучами заходящего солнца они делаются похожими на реактивные авиалайнеры. Их пять, там хранятся ящики с подпорченными овощами, ветер временами доносит оттуда запах гниения. Солнце клонится к закату, скоро стемнеет, а там и понедельник. Завтра надо идти на работу, а перед этим еще предстоит ночь в жаркой и душной комнате. Мы обычно открываем окно, но прохладнее от этого не становится. А среди ночи еще начнет орать младенец в соседней комнате, потом, высунувшись из окна, злобно завопит торговец, который живет на втором этаже. Пока не утихнет этот концерт, мы все четверо так и будем лежать, обливаясь потом на влажных простынях.

Низкое солнце желтыми косыми лучами окрашивает небо над городскими кварталами. Музыка, все время гремевшая из динамиков, вдруг обрывается, танцевавшие девушки и парни останавливаются. Множество загорелых ног следует мимо нас к раздевалкам, у лягушатника родители созывают детей, очередь у трамплинов почти исчезает, в торговых палатках начинается уборка. Но по правилам до закрытия еще целых два часа.

— Насчет корабля-то, — говорю я. — По-моему, дело стоящее.

— Неужели клюнул на эту дешевку? — пренебрежительно бросает Головастый. — Да ты там волком завоешь.

— Что, надуют с расчетом? — спрашиваю я.

— Нет, заплатят. Только насчет восьмичасового рабочего дня — брехня. Они все жилы из человека вымотают.

— Больше, чем на нашей нынешней работе?

— Раза в три.

— Зато интересно.

— Чего там интересного?

— Ты же не плавал, откуда ты знаешь?

— Да уж знаю.

— Значит, по-твоему, так и жить всегда, как теперь? Лучше не бывает, да?

— Точно. Лучше не бывает,— убежденно заявляет Головастый.— Таким, как мы, лучше нигде не будет.

— Так всю жизнь и прожить? На следующее лето снова таскаться в этот бассейн, через лето — опять, и так всегда?

— А у тебя есть другие предложения?

— Нету. Откуда?

— Да все так живут, не только мы,— каждый день одно и то же.

— Но ведь надо что-то с этим делать!

— Ничего ты не сделаешь.

— А вот сделаю,— говорю я.

— Это тебе только так кажется.

В это мгновение Длинный вдруг начинает выть во всю глотку — жутко, пронзительно, как в фильме ужасов. У него набухают на шее жилы, багровеет лицо, глаза вылезают из орбит. Ошарашены не только мы трое — все, кто еще остался в бассейне, вертят головами, пытаюсь понять, откуда доносится этот дикий вопль. Но Длинный уже замолчал и сидит с невинным лицом как ни в чем не бывало. Кроме нас, никто не видел, что это он отличился. Но Длинный снова разевает рот и воет еще громче, чем прежде. Это у него такая привычка — драть глотку при всем честном народе, если ему стало скучно. Я уже присутствовал при подобных представлениях — и в электричке, и посреди людной площади. Ему нравится находиться в центре внимания.

Не переставая орать, он встает и, раскинув в стороны руки, крутится волчком на одной ноге. Все разинув рот смотрят на него, парализованные воплем и странными телодвижениями. Волосы у Длинного растрепались, он крутится на одном месте и, не переставая, истошно воет. Воет на трамплин, на небо, на поля. Зрители глядят на него с отвращением и опаской и близко не подходят. На дороге остано-

вилось несколько машин, и из них вышли люди, тоже привлеченные необычным зрелищем. Мы трое хохочем до упаду и не мешаем Длинному развлекаться. Наконец вопль его затихает, и он, повращав для остротки глазами, садится на траву, потом ложится навзничь.

Через минуту Длинный уже тих и спокоен. Остановившиеся машины трогаются дальше, зрители расходятся.

— Ну ты дал! — говорю я.

Длинный не отвечает, только ухмыляется. Он лежит на спине, подложив руки под голову, и, часто дыша, смотрит в темнеющее вечернее небо.

— Чокнутый ты у нас,— говорит Головастый, достает у меня из-за уха бычок и закуривает.

Солнце уже зашло. Наш выходной на всех парах несется к концу, того и гляди, совсем стемнеет. Однако по-прежнему жарко, обгоревшая кожа пылает. Мы решаем уходить и идем в раздевалку. Проходим мимо взрослого бассейна. В воде всего несколько человек, вышка дежурного пустует. Купнемся еще разок, предлагаю я. Приятели соглашаются, мы прыгаем в воду и проплываем пятьдесят метров — от края до края. Вода стала теплее. На середине дистанции я вижу, что мы плывем неровно: двое впереди, я третий, а сзади, сильно отстав, тот, который блевал. Мы уже вылезли из бассейна, а он еще на середине. Когда остается метров десять, он встает на ноги и дальше идет по дну. Мы тоже порядком выдохлись и садимся на скамейку, чтобы отдышаться. Потом бредем по остывшей траве в раздевалку. Служащие бассейна собирают мусор и сносят его в костер. Обмывшись под душем, мы заходим в раздевалку. Там кто-то жалуется, что у него стащили часы, а у нас все вещи на месте — и штаны, и рубашки.

Мы молча идем назад по той же дорожке. Стемнело, загораются огни. Ужинаем в буфете на станции и садимся в электричку. Выходной закончен. Обычный выходной, такой же, как всегда.

В снегах

1

Тадао пристроился на втором этаже на катацу* и ждал, пока пройдет товарный. С тех пор как начались зимние каникулы, он каждое утро смотрел, как проезжает поезд.

Внизу мама шила на швейной машинке. Тадао, повернув голову, посмотрел на часы, стоявшие на шкафу. Еще оставалось немного времени.

Рядом стоял ящик с цветными карандашами. Тадао выбрал один, с обломанным концом, и стал обводить свое имя, написанное каной** на обложке альбома для рисования. Пальцы от холода покраснели и совсем не слушались. Закончив с именем, Тадао взял красный карандаш и принялся обводить номер класса и группы.

— Оку-сан***,— закричали из соседнего дома,— телефон!

— Ой, спасибо!

Стук швейной машинки прекратился, внизу, в прихожей, с грохотом распахнулась дверь, и мама выбежала на улицу.

Раздался гудок поезда. Тадао поднял лицо и, опираясь руками, в одной из которых был зажат карандаш, на дзабутон****, стал смотреть в окно.

Снег, который шел всю ночь, прекратился, из-за отлогих вершин белых гор поднималось утреннее солнце. Все за окном сверкало и переливалось, прямо ослепнуть можно.

Послышался второй гудок. Тадао встал и прижался носом к оконному стеклу.

В просветы между домами было видно, как быстро бежал

* Катацу — комнатная жаровня, вделанная в пол, с деревянным навесом, накрываемым одеялом. (Здесь и далее — прим. перев.)

** Кана — японская слоговая азбука. Прежде чем приступить к изучению иероглифов, ученики начальной школы учат кану.

*** Оку-сан — обращение к замужней женщине.

**** Дзабутон — плоская подушка для сидения на полу.

черный тепловоз, таща за собой длинную вереницу вагонов. Тадао стал быстро считать их, но, как и вчера, на середине сбился.

Последним промчался служебный вагон, из его трубы валил дым. И снова весь мир стал белым.

Тадао еще немножко посмотрел в окно, потом вернулся на котацу и с головой залез под одеяло. Закоченевшие руки согрелись, и он потер их одну о другую. Прямо перед носом свисал край одеяла, и Тадао попробовал цапнуть его зубами.

Из соседнего дома доносился пронзительный голос мамы, говорившей по телефону. Вдруг голос оборвался. Внизу открылась дверь, и мама вбежала в дом.

— Тадао! — крикнула она.

Тадао не отозвался.

— Тадао!!!

Мама подошла к лестнице, ведущей на второй этаж.

— Ну чего? — сказал Тадао.

— Спускайся сюда.

— Чего еще?

— Значит, нужно. Спускайся.

— Потом.

— А я говорю, сейчас. — Мамин голос посуровел. — Совсем не слушается. Вот я пойду в школу, пожалуюсь на тебя учительнице.

Тадао откинул одеяло, отодвинул сёдзи* и стал спускаться по крутой лестнице. Разутые ноги мерзли на холодном полу коридора. Мама посмотрела на Тадао и вернулась в комнату.

— Ну чего? — спросил Тадао.

— «Чего». Все тебе «чего».

Мама подошла к шкафу, открыла ящик, где лежали вещи Тадао, и достала костюм, который он надевал на Новый год.

— Ох, горе какое! — сказала мама.

— Мы куда идем? — спросил Тадао.

* Сёдзи — раздвижные перегородки в японском доме.

— К бабушке,— ответила мама, всхлипнула и стала надевать на него костюм.

— А зачем?

— Нужно. Достань-ка новые сапоги.

— Ага.

Тадао сам натянул на ноги шерстяные носки. Мама надела на него пальто и застегнула пуговицы.

Он заскользил в носках по коридору в прихожую. Открыв дверцу ящика для обуви, Тадао достал из его дальнего угла новые резиновые сапоги. Они были такие блестящие и переливающиеся — просто красота.

— Постой тут,— сказала мама из комнаты.

Тадао обернул штанины вокруг лодыжек и стал обувать сапоги. Они были как раз впору. Он попробовал походить взад-вперед по бетонному полу тесной прихожей.

Из комнаты вышла мама в черном кимоно и пальто, поспешно затягивая на ходу пояс. Надев белые таби*, которые она держала в руке, мама сунула ноги в зимние гэта** с пластиковым верхом, обшитые цветным мехом. Нагнулась, чтобы завязать тесемку на таби. Тесемка никак не завязывалась на толстой маминой щиколотке.

— Ну, пойдем,— поторопила мама, и они вышли из дома.

— Гулять? — спросила у мамы знакомая тетя, встретившаяся им по дороге.

— Да,— ответила мама, не глядя на нее, и быстро прошла мимо.

Вот и улица.

С крыш снег еще не счищали. Возле домов он лежал целыми сугробами, кое-где на нем оранжевела брошенная кожа мандаринов.

К станции тянулся след от гусениц снегоуборочной машины.

Тадао смотрел вперед во все глаза, но самой машины не было видно, не слышался и гулкий шум ее мотора.

* Таби — японские носки из плотной ткани.

** Гэта — деревянная обувь.

Местами из-под снега виднелась бетонная мостовая, и когда мама ступала по ней, шипы ее зимних гэта звонко цокали.

Тадао хотел было прокатиться по ледяной дорожке, но посмотрел на маму и не стал. Мамино лицо было красным и расстроеным.

— Сегодня шалить нельзя,— сказала мама, глядя прямо перед собой.

— Буду охотиться на зайцев,— сообщил ей Тадао.

— Нельзя,— ответила мама и ничего больше не сказала, только зашагала еще быстрее.

Из-за сугроба вдруг выскочила черная собака и подбежала к Тадао. Он вцепился в мамину руку. Собака, выдохнув из пасти клуб белого пара, посмотрела на Тадао, потом пустила на снег желтую струйку и умчалась в переулок.

— Мама,— спросил Тадао,— а кто быстрее — заяц или собака?

— Сегодня нельзя охотиться на зайцев. Ох, беда какая!

— Ну кто быстрее?

— Я же сказала, сегодня не до зайцев.

Они свернули с улицы и стали подниматься вверх, к женскому училищу.

Все было занесено снегом, только сбоку кто-то протоптал узкую тропку.

Тадао пошел вперед, разбрасывая снег сапогами, чтобы сделать тропинку пошире. Прошло ужасно много времени, пока они добрались до ворот здания.

Училище уже закрылось на каникулы, в окнах белели задернутые шторы. Витая железная калитка была чуть-чуть приоткрыта, на каменных ступеньках остались следы метлы. Четырехугольные столбы ворот были одеты в белые снежные шапки.

Они вошли в калитку и, свернув перед самым крыльцом училища, пошли по заснеженной аллее. Пруд затянуло льдом, наверное, по нему уже можно было ходить.

Мама, подобрав полы кимоно, шла след в след за Тадао.

Он время от времени оборачивался и смотрел на нее через плечо. На мамином лице, всегда таком веселом, сегодня не было и тени улыбки.

Они пересекли теннисные корты. В центре школьной территории стояла сторожка с двумя трубами. Из одной к небу тянулся сизый дымок.

Мама отодвинула Тадао в сторону и остановилась перед стеклянной дверью. Потопав ногами, она стряхнула с гэта прилипший снег. Тадао сделал так же. Чуть приоткрыв дверь, мама сказала:

— Можно?

Из сторожки никто не ответил. Видно было, что на глиняной печке стоит большой котелок, из-под крышки которого вырывался пар.

— Можно? — снова спросила мама, прислушиваясь к тому, что происходит в домике.

Сёдзи распахнулись, и вышел папа в пижаме.

— Это ты? Что случилось? — удивился папа.

Тадао снял сапоги и прошел в комнату.

— Так в чем дело? — опять спросил папа, стоя у дверей.

Мама хотела что-то сказать, но только молча опустила голову.

— Что случилось? Что ты там встала, иди в дом.

Мама вошла в комнату, но пальто не сняла.

На полу тесной дежурки лежали расстеленные футоны*. Тадао залез на котацу и стал смотреть на родителей. Огонь в котацу не горел.

Мама села на дзабутон, который бросил ей папа.

— Ну, что такое? — спросил он.

— Мама... — сказала она и закрыла лицо руками. — Мама умерла...

— Не может быть!

— Позвонили по телефону...

Мамины плечи задрожали, она пробормотала что-то невнятное и заплакала.

* Футон — ватный тюфяк.

Папа сунул в рот сигарету. Он искал спички, не нашел их и прикурил от электроплитки, включив ее в сеть.

Тадао увидел, как спираль электроплитки покраснела и тихонько загудела. Потом он снял перчатки и стал греть над плиткой руки.

— Отчего она умерла? — Папа вытянул губы трубочкой и пустил в лицо Тадао тоненькую струйку дыма.— Она же вроде ничем не болела?

— Вчера вечером... постелила и легла спать... А утром смотрят...

Мама зарыдала.

— Отправляйся туда,— сказал папа.

— А как же...— Мама вдруг перестала плакать и, подняв лицо, посмотрела на папу покрасневшими глазами.— А ты?..

— Я не могу,— ответил папа.

— Как «не могу»?

— Я на дежурстве.

— Попроси, чтобы тебя кто-нибудь подменил.

— Кого сейчас попросишь.

Тадао заглянул под стол. Там стояла коробка из-под мандаринов, в ней всегда лежали моти*.

Папа посмотрел на Тадао, погладил его по голове и, нагнувшись, вытащил из коробки моти. Он бросил ее на раскалившуюся докрасна электроплитку. Повалил белый дым.

— С сахаром? — спросил папа у Тадао.

— Угу.

Мама плакала.

Папа открыл шкафчик и достал блюдце с сахарным песком. Теперь пошел черный дым, и Тадао пальцами быстро перевернул лепешку.

— Смотри, горячая,— предупредил папа и, хлопнув по поджаренной моти ладонью, разломил ее пополам. Он свернул половину лепешки трубочкой, и Тадао, насыпав на нее больше сахара, стал есть.

* Моти — рисовая лепешка.

— Ну как, вкусно? — спросил папа.

— Угу.

— Ну пожалуйста, — сказала мама.

— Не могу. Я на дежурстве.

— ...

— Ладно, ладно, иди одна.

Папа взял половинку поджаренной моти, подул на нее и тоже стал есть.

— Я пригляжу за Тадао.

Мама молчала.

— Еще будешь? — спросил папа у Тадао.

— Буду.

С железной крыши, ухнув, свалился пласт снега.

— Ладно, — сказала мама, поднимаясь, — обойдусь без тебя. Пойдем, Тадао.

Она отняла у сына недоеденную моти.

— Пусть Тадао побудет со мной. Зачем он там, только мешать будет.

— В моем родном доме мой сын никому мешать не будет. Ты его тут еще простудишь, чего доброго.

— Ну, делай как знаешь, — ответил папа.

— Мама, мама умерла... — плачущим голосом проговорила мама. — Ну прошу тебя, пойдем вместе.

— Говорю же, на дежурстве я.

— Я понимаю, но...

— Тадао, — сказал папа, — оставайся со мной, на улице холодно.

— Не, я на зайцев охотиться пойду.

— Я же сказала, никаких зайцев.

Мама надела гэта и стала обувать Тадао.

Папа, сидя на котацу, доедал лепешку.

Мама с Тадао вышли из дома.

— Я потом приеду, — крикнул им вслед папа.

Мама вытерла припухшие глаза и ничего не ответила. Из трубы вылетел уголек и, дымясь, прожег в снегу глубокую ямку.

Мама и Тадао вернулись на улицу и направились к автобусной остановке. Мама подошла к витрине только что открывшегося кондитерского магазина и посмотрела на часы, потом — на автобусное расписание.

К крышам домов были приставлены длинные лестницы, и мужчины лопатами скидывали снег вниз. Поскрипывая гусеницами, неспешно проехала закончившая работу снегоуборочная машина. Тадао помахал рукой ей вслед.

Из-за полицейской будки показался окутанный паром автобус. Громко лязгали цепи, обмотанные вокруг его колес. Тадао потянул маму за рукав.

Она вышла на проезжую часть и подняла руку. Автобус остановился.

— Прошу,— сказал кондуктор. На лице у него была марлевая повязка, воротник пальто поднят.

Мама и Тадао быстро влезли в автобус. Не успели они занять места, как машина тронулась, и они чуть не упали. Других пассажиров в автобусе не было.

Тадао встал коленями на сиденье и стал смотреть в окно.

— Тадао,— позвала его мама.

— Чего?

Он смотрел, как сбрасывают снег с крыш.

— Ну, чего тебе?

— Бабушка-то наша умерла...

Тадао мельком взглянул на маму и снова отвернулся к окну. Он попробовал писать пальцем на обледеневшем стекле.

— Ты что, не любишь бабушку? — спросила мама.

— ...

— Не любишь?

— Я дедушку люблю, он хороший,— ответил Тадао.

— А бабушка?

— Обыкновенная.

Автобус выехал за город и, подпрыгивая на ухабах, не спеша двигался по шоссе, по обе стороны которого тянулись рисовые поля.

Мама сидела вся сжавшись и только иногда поднимала голову. Кондуктор украдкой поглядывал то на нее, то на безлюдные автобусные остановки.

— Вы куда едете, оку-сан? — спросил водитель, посмотрев на маму в зеркальце.

Мама не сразу услышала и ответила, только когда он обратился к ней еще раз.

— Ну, туда еще как-нибудь доберемся, а вот дальше — кто его знает. Приедем, посмотрим, — сказал водитель.

— А нам дальше и не надо, — ответила мама.

Подошел кондуктор, цепляясь за поручни, проколол щипчиками билеты и сунул их маме, а она ему — деньги.

Тадао все смотрел в окно.

Рисовые поля кончились, теперь вдоль шоссе тянулись яблоневые сады. На столбах изгороди лежал снег, колючая проволока местами порвалась. Кое-где на голых ветках еще висели обледеневшие яблоки.

Автобус по дороге подобрал еще одного пассажира. Это была женщина, которая знала маму. Они начали разговаривать, мама иногда всхлипывала.

Машина въехала на длинный деревянный мост и вся запрыгала, заскакала. Тадао хотел посмотреть на воду, но излучину замело снегом, и самого потока не было видно.

Автобус шел почти целый час и наконец подъехал к деревне.

Тут мама и Тадао вышли. Снегу здесь было еще больше, чем в городе. Автобус поехал обратно, потому что дорога впереди не была расчищена.

Знакомая женщина поклонилась маме, взвалила на спину большущий узел и, пройдя под пожарной вышкой — деревянным помостом с лесенкой, — зашагала по тропинке через поле. Мама и Тадао пошли к деревне, до которой автобус немного не доехал.

Снег залезал в голенища сапог. Мама то и дело останавливалась и, опираясь на плечо Тадао, вытряхивала свои гэта.

Они взобрались на невысокий холм и свернули на дорожку, идущую вдоль речки.

Воды прибыло, она бежала быстро и бурлила, но на дне можно было разглядеть все камни. С берега свисали ветки кустов и стебли высохшей травы. На их концах застыли сосульки.

Тадао на ходу обломил одну такую ветку и, поглядев на маму, сунул ее в рот. Мама на него не смотрела. Он причмокивал языком, лед таял.

Дорожка стала уже. Меж рисовых полей стояли окруженные высокими деревьями дома под тростниковыми крышами.

Мама взяла Тадао за руку и чуть ли не бегом бросилась через мостик.

— Ой, что это? — Тадао показал на натянутое перед домом черно-белое полотнище.

Мама ничего не ответила, губы у нее задрожали. Она выпустила руку Тадао и побежала к дому. Не говоря ни слова, она скинула гэта, раздвинула сёдзи и скрылась внутри.

Тадао остался у входа один и уселся на приступок. Вокруг стояло много всякой обуви. Изнутри доносились голоса людей.

К багажнику стоявшего у стены велосипеда была прикреплена клетка, в ней тихонько щебетал снегирь. Тадао попытался передразнить его посвист. Вдруг из дома донесся громкий плачущий голос мамы. Снегирь замолчал.

Открылись сёдзи, и вышла тетя, мамина сестра.

— А, ты тоже пришел,— сказала тетя. Вокруг шеи у нее был обмотан толстый шарф.— Давай-ка заходи.

Тадао, опершись на ступеньку, стянул сапоги.

— А где же твой папа? — спросила тетя, легко поднимая Тадао на руки.

— В школе.

— Да? Ох, какой ты стал тяжелый!

Они прошли в комнату, где находился очаг. Потолка там не было, и наверху виднелись толстые бревна крыши, черные от копоти.

— Ну, пойдём к маме?

Тетя опустила Тадао на пол.

— Угу.

Она раздвинула перегородку. Шум голосов стал слышнее. Увидев, что в комнате много людей, Тадао смутился и остановился на пороге, но тетя сзади подтолкнула его в плечо.

Комната была просторной, в ней светилось три лампы. Посередине на полу лежал фuton, вокруг которого сидели мужчины и женщины.

Мама, вцепившись обеими руками в край покрывала, вся согнулась и плакала то в голос, то еле слышно. Другие женщины тоже терли глаза и носы.

Тетя протиснулась между людьми и посадила Тадао рядом с мамой.

Он по очереди оглядел лица присутствующих. Огонь не горел, и все были одеты в теплое. Мама вытащила из-за пазухи платок, высморкалась и вытерла глаза.

— Тадао,— сказала мама,— посмотри на бабушку.

Тетя сбоку протянула руку и сняла белый платок, закрывавший лицо лежащей бабушки. Тадао наклонил голову и посмотрел. Глаза бабушки были закрыты, из ноздрей торчали комочки ваты.

— Вот она, твоя бабушка,— снова сказала мама.

Тадао молчал.

— Умерла.— Мамин голос задрожал. Она схватила его руку и приложила ее к бабушкиному лицу. Оно было очень холодное, и Тадао отдернул руку.

— А дедушка где? — спросил Тадао, поднимаясь.

— Тадао,— позвала мама.

— Да ладно,— сказала тетя.— Дедушка во флигеле, ступай к нему.

— Угу.— И Тадао побежал прочь из комнаты.

— Тише, тише.

Выбегая из дома, Тадао мельком взглянул на снегиря в клетке.

На улице все сверкало от снега. Тадао посмотрел немного, как падают капельки воды с сосуллек, свисающих с крыши, и побежал по яблоневому саду в другой конец двора.

II

Флигель был совсем маленький, вроде сарайчика с дощатыми стенами. Сразу за ним начиналась роща.

Прежде чем открыть дверь, Тадао посмотрел вокруг, не выставлена ли клетка с зайцами. Нет, ее пока не было. Тадао вошел внутрь. Свет там не горел, и было совсем темно.

— Дедушка-а! — позвал Тадао.

— Кто там? Никак Тадао? — донесся после некоторого молчания басистый дедушкин голос. Раздался шорох, и зажглась лампочка. — Пришел?

Дедушка потер себя по лысой, как шар, голове. Он был в меховом жилете, который всегда носил зимой.

— А где зайцы? — спросил Тадао.

— Живы-здоровы.

Тадао прошел в угол комнаты, наклонился и приподнял тряпку, прикрывавшую длинный и узкий деревянный ящик. Зайцы зашевелились и зашуршали, косясь на Тадао.

— А где черный? — спросил он.

— Прирезал.

— Зачем?

— Ушанку тебе сделал, — ответил дедушка.

— Где она?

— Потом отдам.

— А чего ты зайцев не выставил на солнце?

— Не, сегодня не стоит.

— Почему?

— Им, по-моему, больше нравится лежать в темноте и спать.

— А-а.

Тадао еще разок взглянул на зайцев и опустил тряпку.

Дедушка жил во флигеле отдельно от всех. Здесь была

только одна маленькая комната с очагом посередине.

Дедушка уселся на свое обычное место у камелька и, поставив железный чайник, стал ломать сухие ветки и бросать их в очаг. Тадао сел напротив. Ему нравилось сидеть так.

— Ты с мамой приехал? — спросил дедушка.

— Угу.

Тадао скомкал перчатки и засунул их в карманы пальто.

— А где ушанка-то?

— Сейчас.

Дедушка достал из сундучка яблоневого дерева, где у него хранились разные старые вещи, ушанку и бросил ее Тадао.

— Ну-ка надень.

Шапка была такая же, как у дедушки, только поменьше. К ушам были приделаны тесемки, чтобы завязывать под подбородком.

Тадао надел ушанку. Дедушка привстал и поправил перекрутившиеся тесемки.

— Ну как, теплая?

— Ага.

В едва тлевшем очаге затрещали ветки, по ним побежал огонь.

Из окна флигеля виднелась криптомериевая роща, там с чириканьем носились воробьи.

— Много зайцев наловил?

Тадао поднял руку и потер мягкий мех ушанки.

Дедушка подбросил в огонь веток. Чайник начал тихонечко посвистывать.

— Ну сколько?

— А? — Дедушка поднял глаза и посмотрел на Тадао. — Ни одного. Снег все время валил.

Дедушка снова опустил голову и стал выбирать из охапки веток те, что посуше.

— Снег-то кончился.

— Кончился.

Дедушка глянул в окно и побросал отобранные ветки одну за другой в огонь.

— Выпьем? — спросил он.

— Выпьем.

В очаге что-то стрельнуло. Дедушка чуть приоткрыл окно и дал дыму выйти. Потом протер полой жилета большую чайную чашку. Приподнял одну из досок пола и достал небольшой кувшин. Когда он снял с кувшина крышку, сильно пахнуло спиртным.

Тадао не сводил глаз с дедушкиных рук. Дедушка накапал в маленькую деревянную ложечку сливянки и вылил в чайную чашку. Совсем немножко.

— Еще чуть-чуть,— попросил Тадао, поглядев на чашку.

— Нельзя, голова заболит.

— Ну и пусть болит.

Дедушка впервые за все время улыбнулся и налил Тадао в чашку еще ложечку сливянки.

— Только маме не говори.

— Не скажу.

Дедушка залил вино кипятком из чайника и помешал ложечкой. Потом поставил кувшин на место, в подпол.

Тадао дул на кипяток, держа чашку обеими руками, и наблюдал, как расходится в кипятке сливянка.

— А за зайцами не пойдем? — спросил он, отхлебнув немного.

— Сегодня нет.

— А когда?

— Не знаю.

— Снег-то перестал.

— Да, перестал.

Дедушка залпом осушил чашку неразбавленной сливянки и задохнулся.

— Чего ты кипятку не налил?

— Так лучше.

— Ты же всегда наливаешь.

— Так согревает быстрее.

Даже сюда из дома доносились голоса. Тадао допил свое питье и стал прислушиваться.

Солнце стояло высоко, в лучах, проникавших сквозь дверные щели, кружились пылинки.

Шум в доме стал сильнее. Послышался женский смех. Тадао только потом понял, кто это смеялся.

— Пойдем, что ли,— сказал дедушка.

— Куда?

— За зайцами.

— Правда?!

Тадао поспешно вскочил на ноги и бросился надевать сапоги.

— Идем скорей!

— А ты поел?

— А, ничего. А ты, дедушка?

— Я тоже ничего,— ответил дедушка.

Тадао снял со стены две пары снегоступов — большие и маленькие.

— Может, пойдешь спросишься у мамы?

— Да ну. Не пойду.

— Ну, тогда в путь.

Дедушка подвязал соломенной веревкой штанины и натянул на ноги резиновые сапоги. Потом достал из кармана жилета вязаные наушники, надел их, а поверх — черную меховую шапку. Нарезал кусачками проволоку, сложил обрезки в пучок и засунул его за пояс. Вложил в ножны из древесной коры топорик и повесил на плечо. Обухом топорика дедушка бил по голове пойманных зайцев.

Они вышли наружу. Дедушка, прищурив глаза, посмотрел на солнце, взял Тадао за руку, они вскарабкались на насыпь и вышли на широкую заснеженную дорогу. Перед тем как идти дальше, дедушка оглянулся на дом и зашагал прочь.

Они шли вдоль речки. Воды в ней стало еще больше, чем утром, и течение убыстрилось. Бескрайние поля и горы вдаль были покрыты снегом, смягчавшим очертания и приглушавшим краски.

Тадао нес снегоступы на плече. Когда показалась водяная мельница, ему стало вдруг очень весело.

— Сколько сегодня наловим, а? — спросил он.

— Сколько наловим — все наши.

— Хорошо бы побольше, да, дедушка?

— Хорошо бы.

— Интересно, как там твои силки?

— Их все снегом засыпало.

— Ну и что, они же все равно целы.

— Дай бог,— сказал дедушка.— Хорошо, что я их по норам расставил.

— Ага.

Они прошли по бревенчатому мостику через речку мимо водяной мельницы. Колесо не работало, с водоспуска свисали длинные сосульки. Тадао подбежал и отломил самую большую. Дедушка подождал, пока он вернется, и они пошли дальше.

— Здоровая, да? — сказал Тадао, держа сосульку за толстый конец.

— Ага. Если подняться по речке повыше, там и побольше найдутся.

— Да?

Тадао отшвырнул сосульку прочь. Блеснув на солнце, она вонзилась в снег.

Тадао шел, задрал лицо кверху. Небо было ясным, в противоположном от солнца краю висел прозрачный месяц. У подножия горы, сверкая стеклами, поднимался по шоссе автобус с лыжниками.

Они все шагали вверх по течению. Когда снег стал доходить до колен, пришлось остановиться.

— Давай сюда снегоступы.

Тадао положил снегоступы на снег. Дедушка нагнулся, чтобы помочь ему справиться с завязками, но Тадао хотел сам.

— Так не пойдет, сразу свалятся,— сказал дедушка и, присев на корточки, завязал веревки наново, крепко.

Тадао попробовал пройти по снегу. Ноги увязали только до щиколоток — вполне можно было идти.

— Нормально, не проваливаюсь,— сказал Тадао.

— Еще наст не растаял.

Чтобы снегоступы не цеплялись один за другой, приходилось шагать, широко расставляя ноги.

Домов уже не было видно. Дедушка и Тадао дошли до первой горы. Высоко над головами вытянулись криптомерии. Нижние ветки у всех деревьев были обрублены, и казалось, что стволы снизу подвязаны ярким, сияющим солнечным поясом.

Извилистая тропинка, протоптанная углежогами, тянулась к вершине горы.

Дедушка и Тадао сняли снегоступы, перевязали сапоги веревками, чтобы не скользить, и стали подниматься по горной тропинке, впереди дедушка, следом Тадао. Топор постукивал на ходу в своих деревянных ножнах. Там, где на крутых склонах снег не мог удержаться, виднелась поросль мелкого бамбука. Тадао вспотел, ему стало жарко.

Вдали раздался ружейный выстрел, по горам прокатилось эхо.

— Кто это? — спросил Тадао.

— А кто его знает.

— Дедушка, а ты когда-нибудь стрелял из ружья?

— Угу.

— Правда?! И у тебя есть ружье?

— Теперь нет.

— А когда было?

— Никогда. Мне его давали,— ответил дедушка.— Когда я ходил на войну, вот тогда мне и давали ружье.

Тадао остановился.

— Ты стрелял в людей?

— Угу.

— А сколько застрелил?

— Много. Ну, пойдём же.

Дедушка стал карабкаться выше.

— Устал?

— Ага.

— Если не поторопимся, все зайцы разбегутся.

— Ага.

Между верхушками поредевших криптомерий показалось белесое солнце. Потом деревья кончились, и теперь гора просматривалась до самой вершины. За горой начинались холмы и лес, где они обычно охотились.

Тадао и дедушка спустились по пологому склону, занесенному снегом. Следов человеческих ног нигде не было видно.

— В лесу никого нет,— сказал Тадао, когда дедушка снова завязывал ему тесемки на снегоступах.

— Сюда никто не ходит.

— А тот, с ружьем?

— Он сюда не придет.

— Он зайцев из ружья стреляет, да?

— И лисиц.

— Хорошо, когда ружье есть.

— Не нужно мне оно.

Дедушка стал завязывать свои снегоступы.

— Почему не нужно?

— А не нужно, и все.

— Да-а?

— Ну пошли.

— Ага. Дай проволоку понести.

Тадао взял связку проволоки и сунул ее под мышку. Оставляя две пары следов от снегоступов — большие и маленькие, — они, широко расставляя ноги, вошли в лес.

Солнечные лучи не проникали сквозь переплетение густых ветвей, но от снега в лесу все равно было светло. Повсюду лежали осыпавшиеся красные ягоды нандины.

Высоко на дереве засвистел свиристель. Тадао, разинув рот, поднял голову кверху. Красный хвост свиристеля метался среди ветвей. Ветки качались, с них сыпалась снежная пыль.

— Свиристель, да? — Тадао вспомнил и с удовольствием произнес название птицы.

— Ага.

Дедушка продолжал идти вперед.

— Они только зимой бывают, да, дедушка?

— Да.

— А что они делают летом?

— Улетают далеко-далеко.

— Куда далеко?

— На север.

Дедушка свернул с тропинки и медленно пошел среди мелкого бамбука, внимательно глядя под ноги. На снегу было множество заячьих следов.

— Еще больше, чем тогда, — сказал Тадао, понизив голос.

— Ага, — ответил дедушка и, свернув с заячьей тропы, пошел в другую сторону.

— Можно же и здесь, — сказал Тадао.

— Здесь потом. Сначала надо силки проверить.

— Ах да! Вдруг их снегом занесло, да?

— Может, и занесло.

— А места помнишь?

— Да уж не забыл, — ответил дедушка.

Тадао запихнул связку холодной проволоки в карман пальто и стал придерживать ее сверху рукой.

— Не здесь?

— Немножко дальше.

— А, здесь норы, — сказал Тадао.

— Помнишь?

— Ага. Интересно, попались или нет?

— Я четыре поставил. Хоть один-то уж попался.

— Наверно, попался.

Тадао догнал дедушку и пошел с ним рядом. Они спустились на дно высохшего ручья и прошли по нему немного. В зарослях прибрежного бамбука, в глинистой почве виднелись норы. Тадао взбежал на берег.

Заячью тропу, которую он видел здесь в прошлый раз,

засыпало снегом. Тадао встал на колени и заглянул в нору. Ржавая проволока была натянута.

— Дедушка! — закричал Тадао.— Есть, есть! Иди скорей! Дедушка засмеялся и пошел быстрее.

— Скорее! — торопил его Тадао.

Дедушка отодвинул внука в сторону, сунул руку в нору, схватил зайца и положил его на снег. Заяц был мертв, он весь уже закоченел. Железный прут впился ему прямо в шею. Когда Тадао стал его выдергивать, с шеи слез белый пух и обнажилась розовая кожа.

— Он давно попался? — спросил Тадао.

— Давно.

Дедушка перевернул зайца.

— Пух лезет.

— Да, этот мех уже ни на что не годен, — сказал дедушка.

— На мясо пойдет, да?

— На мясо.

Дедушка достал веревочную сумку, взял зайца за задние ноги и засунул туда.

В остальные три силка никто не попался. Дедушка установил их снова, натянув проволоку топоричем.

Они пошли к другим ловушкам.

— Жалко, что мы пораньше не пришли.

— Снег сильный шел.

Тадао посмотрел дедушке в лицо. Оно было таким же, как всегда, только глаза немножко запали. Он вцепился в широкую дедушкину ладонь и повис.

— Ну, сколько их еще, угадай? — спросил дедушка.

— Чего?

— Чего-чего, силков.

— Три.

— Ан нет, четыре, — и дедушка громко засмеялся.

Они углубились в чащу. Среди криптомерий стали попадаться березы, сначала отдельные деревья, потом сплошь.

Тадао смотрел на дедушкину спину, где вверх ногами висел заяц, глаза его были затянuty тонкой пленкой. Тадао

вынул руку из кармана и потрогал свою ушанку. Мочки ушей под ней были горячими. Он начал почти беззвучно насвистывать.

Вдруг дедушка замер на месте и, ухватив Тадао за плечи, притянул его к себе. Тадао посмотрел туда, куда дедушка показывал пальцем.

У подножия сросшихся стволами трех берез через равные промежутки времени снег фонтаном взлетал вверх.

— Попался! — закричал Тадао.

— Помолчи, — тихо сказал дедушка. — А то он начнет метаться и шкурку попортит. Оставайся тут.

Он, стараясь не дышать, бесшумно вынул топор из ножен и поднял его кверху.

Тадао напрягся всем телом, глядя вслед крадущемуся дедушке. Ему вдруг очень захотелось по-маленькому.

Дедушка оперся рукой на березу, взмахнул топором и прыгнул вперед. Раздался глухой звук, как будто ударили по деревяшке. Тадао помчался к березе. Дедушка поправил съехавшую набок шапку и показал ему зайца, подняв его в руке.

— Уй, какой большой!

— Здоровый, верно?

У зайца на заду еще оставалась коричневатая шерсть. Тадао взял зверька за уши и подержал на весу. Он был еще теплый, рот остался открытым, и виднелись передние зубы.

— Тяжелый, — сказал Тадао.

— Ага.

— Совсем взрослый заяц.

— Ага.

— Он, наверно, уже дедушка.

— Может быть.

Дедушка взял у Тадао зайца и положил в сетку.

— Этот заяц жил долго.

— Ага, — ответил дедушка. — Ну, что из него сделать? Ты как считаешь?

- Ушанку.
- У тебя же есть.
- Есть. У меня черная, а ты сделай белую.
- Ладно, сделаю.

Дедушка голой рукой разгреб верхний скрипучий слой снега, зачерпнул в ладонь снежку помягче и стал есть.

- Я тоже хочу,— сказал Тадао.
- Ну так ешь.
- А нельзя.
- Кто сказал?
- Мама.
- Почему это?
- Она говорит, живот будет болеть.
- Ничего, не заболит.
- Конечно не заболит.

Тадао, не снимая перчатки, захватил горсть снега и засунул в рот.

- Ну как, вкусно?
- Угу. Ты только смотри, дедушка, не проговоришься.
- Не проговорюсь.
- Гляди, обещал.
- Ладно.

Дедушка вынул одну проволочку из связки, что нес Тадао, и снова зарядил силок — натянул проволоку на вбитый в землю колышек, присыпал сверху снегом и разровнял снегоступом.

- Еще попадутся? — спросил Тадао.
- Может быть. Хотя вряд ли.
- Почему?
- Человечий запах остался.
- А-а.

Тадао потянул за заячью ногу, высунувшуюся из сетки. Дедушка вошел в азарт охоты не меньше, чем внук. Березовая роща осталась позади. Теперь кругом были только мертвые, засохшие буки.

Многие деревья уже упали и лежали на снегу, то и дело

приходилось перелезать через поваленные стволы.

Самая последняя ловушка осталась нетронутой, а в три остальные попало по зайцу. У одного все брюхо выела лисица, а двое были живы, но уже обессилели и не двигались. Все вокруг было усыпано клочками шерсти.

Дедушка убил обоих зайцев, ударив каждого обухом топора.

— А лисица-то,— сказал Тадао.

— Что лисица?

— Чего это она всего зайца не съела?

— У нее сейчас жратвы хватает.

— А почему она у него только живот съела?

— Самое вкусное.

Дедушка положил убитых зайцев в сетку, а того, которого объела лисица, вынув проволоку, кинул в заросли.

Дедушка и Тадао спустились до опушки леса. На свежей вырубке они присели на пни. Сзади был лес, впереди тянулась открытая равнина.

Подперев щеку, Тадао смотрел вдаль. В самом низу змейкой вилась речка. Она разделялась на несколько протоков, и все они блестели на солнце.

Тадао сидел тихо, ждал, пока холодный пенек под ним нагреется. Дедушка достал трубку и закурил.

— Сегодня больше всего поймали,— сказал Тадао.

— Ага,— согласился дедушка, взглянув на сетку, лежавшую у его ног.

— И всех — одним ударом!

— Чего?

— Убивал всех одним ударом.

Тадао потрогал топор, висевший у дедушки на плече.

— Да?

— Ну да. Ты их всегда раза по три бьешь.

— Неужели?

Дедушка посмотрел на Тадао.

— Конечно. Чего ты нахмурился?

— ...

— У тебя же целый день лицо было нормальное.

Дедушка выдохнул большой клуб дыма и стал смотреть вдаль. Выбил о ладонь трубку и бросил пепел на снег.

— Дедушка! — Тадао весь сжался и пригнулся к деду. — Заяц!

— Где? — тихонько спросил дедушка, замерев на месте.

— Сзади, сзади!

— Не двигайся.

Дедушка взял рукой за топориче.

— Сюда спускается?

— Ага.

— Один?

— Один. Давай скорей, а то убежит!

— Пока вниз не спустится, не убежит. Спускаться они плохо умеют.

— Почему?

Тадао от возбуждения стало трудно дышать.

— Задние лапы у них длинные, мешают, — ответил дедушка. — Ну все, замолкни.

Тадао устался на дедушкины руки, боясь моргнуть глазом. Лицо горело огнем. Он пытался услышать, как приближается заяц, но в ушах стучало. Во рту пересохло. Один разок из-под прикрытых век Тадао медленно перевел глаза за дедушкино плечо. Там, где только что никого не было, шевелился снег. Показались уши, розовые глазки, а потом и весь заяц.

Заяц встревоженно огляделся и продолжал спускаться по склону прямо перед ними.

Дедушка рывком вскочил на ноги. Тадао, чуть не упав, кинулся следом. Ему не было видно, куда побежал заяц. Дедушка, изогнувшись всем телом, прямо в снегоступах прыгнул вниз. Тадао остановился.

Заяц пронзительно завизжал. Дедушка забарахтался в снегу; поднялся и упал топор. Обычного глухого звука не было.

Тадао, переведя дух, увидел, как дедушка встает, держа в руках зайца и топор.

Истоптанная, изрытая снежная поверхность была забрызгана красным. Из рассеченной пополам головы зайца струйкой стекала кровь и капала на снег, который делался похожим на клубничное мороженое.

Дедушка вытер окровавленной рукой кровь со лба и улыбнулся.

— У тебя кровь,— сказал Тадао.

— Бог с ней, с кровью.

— А почему кровь?

— Да я ударил этой стороной,— показал дедушка на лезвие топора.

— Ошибся, да?

— Нет, не ошибся.

— Шкурка пропала.

— Плевать.

Дедушка вытер топор о снег. Сумка была полна, и он понес зайца в руке.

— Зачем ты его так убил? — спросил Тадао.

— Да ладно, одного-то ничего,— весело ответил дедушка.

Они не спеша спускались вниз по холму.

— Когда кровь, зайца жалко.

— Ерунда. Ему все равно — он что так, что этак мертвый,— сказал дедушка, и лицо его вдруг стало очень серьезным. Тадао пошел впереди, чтобы не видеть, как из зайца капает кровь.

Обратно они возвращались короткой дорогой, вдоль поймы реки. Солнце начинало клониться к закату, на равнине от гор легла длинная тень. Похолодало.

Дедушка всю дорогу почти не открывал рта. Они перешли через длинный деревянный мост.

Середина моста так и осталась сломанной после прошлогоднего тайфуна. Тадао посмотрел на бежавший внизу поток, остановился и, вцепившись в перила, стал вглядываться в воду.

— Дедушка,— позвал он, не оборачиваясь.— Как ты думаешь, они еще там?

— Кто?

Дедушка подошел и тоже посмотрел на реку.

— Рыбы.

— Нет.

— Они вернутся, когда снег сойдет, да?

— Ага.

— Тогда снова будем ходить на рыбалку, правда?

— Угу,— ответил дедушка.— Будем ходить.

— Каждый год, вдвоем, да?

— Каждый год.

— Ага, и много-много лет.

— ...Да.

Тадао взглянул на зайца в дедушкиной руке. Кровь уже не капала.

Когда они перешли мост, Тадао понял, что ветерок дул только над рекой.

— Когда умирают, становятся холодными-холодными, да? — сказал он, трогая на ходу заднюю ногу зайца.

— Да, холодными.

— А почему?

— Потому что кровь останавливается.

Дедушка смотрел куда-то вперед, вдаль.

— Когда умираешь, всему конец,— сказал он.

— Чему всему?

— А всему.

— Ну чему всему?

— И еде, и работе, и сну.

— И ты, дедушка, тоже умрешь?

— Умру. Скоро уже,— ответил дедушка.— Все умирают.

— И все зайцы тоже?

— И зайцы. Все, кто живет.

— А хорошо бы никогда не умирать, да?

— Если живешь слишком долго, устаешь.

— Наверно,— сказал Тадао.— Бабушка была такая холодная.

Далеко в горах прогрехотало, как во время грозы. Они посмотрели в ту сторону. Над освещенным вечерним солнцем ущельем белой тучей поднялась снежная пыль.

— Лавина,— сказал дедушка.

— Вот это да! — восхитился Тадао.

III

Когда они вернулись, солнце уже зашло и стало совсем темно.

В доме горели огни, там было все так же шумно. Тадао пошел прямо к дедушке во флигель. Дедушка включил свет. Тадао постучал снегоступами один о другой, чтобы отряхнуть снег, и повесил их на место.

Дедушка с размаху швырнул сетку с добычей поверх ящика с зайцами. Потом сел к камельку. Длинными щипцами он разгреб угли, подхватил тлеющий уголек и отложил его в сторону. Собрав тонкие и сухие ветки, дедушка бросил на них сверху уголек и стал дуть.

Тем временем Тадао, приподняв кусок мешковины, заглянул в ящик с зайцами. Те спали, но от внезапного света зашевелились и, косясь на Тадао, неохотно захрупали пожелтевшей травой. Тадао подошел к очагу и сел напротив дедушки. Он подвинул ноги в промокших штанах поближе к огню. Скоро от штанин и носков пошел пар.

— Ругать будут,— сказал Тадао.

— Кто?

Дедушка подкинул в огонь несколько сучьев.

— Мама.

— За что?

— За то, что ходил за зайцами.

— Она что, говорила, что нельзя?

— Ага. Сегодня, говорила, нельзя.

— Ничего.

— Конечно ничего.

Тадао сидел и смотрел в темноту за окном. С крыши свисали сосульки. Бумага, которой была заклеена треснувшая стеклянная дверь, отошла и, тихо шелестя, дрожала на сквозняке.

— Ветер задул, — сказал Тадао.

— Да. Снегопад будет.

Дедушка не смотрел на Тадао, ровными движениями он все ломал сухие ветки и подбрасывал их в огонь.

Они замолчали.

Было слышно, как в доме открылась дверь, кто-то шел к флигелю. Подмерзший к вечеру наст сухо скрипел под ногами.

— Кто-то идет.

Тадао посмотрел на дверь. Она с шумом распахнулась, и в комнату вошли мама и тетя. Обе они были в фартуках.

— Тадао! Ты где был? — спросила мама.

— В горах.

— С дедом?

— Ага.

Мама увидела сетку с зайцами.

— Опять на зайцев охотились?

— Ага.

— Ох, папа, — тонким голосом сказала тетя дедушке, — такой день, а ты зверей убиваешь. Мама ведь умерла.

Дедушка ничего ей не ответил.

— Как ты можешь! — сказала тетя. — Сердца у тебя нет.

— Тадао, пойдем.

Мама взяла Тадао за руку.

— Пора ужинать.

Тадао, глядя на дедушку, стал надевать сапоги.

— Папа, ты будешь кушать? — спросила тетя.

— Да ладно, — ответил дедушка.

— «Да ладно» — это значит не будешь?

— Угу.

Мама потянула Тадао за руку, и они вместе с тетей вышли наружу. Дул ветер.

— Бедная мама! — сказала тетя.

— Хорошо тебе, сестренка, что ты замуж не вышла,— сказала мама.— Ох уж эти мужики!

— Твоя правда. А как маму жалко!

Тетя и мама заплакали.

IV

Тадао поужинал в одиночку. Он заглянул в большую комнату. Там возле незаколоченного гроба сидели гости, ели, пили вино и разговаривали между собой.

— А почему,— спросил Тадао у тети,— они не уходят домой?

— Сегодня они останутся здесь до утра,— ответила тетя, опуская в кастрюлю с кипящей водой бутылочку сакэ.

— А почему?

— Чтобы бабушке не было одиноко, они побудут с ней.

— И останутся здесь навсегда?

— Нет, только на эту ночь.

— А потом что?

— А потом бабушку закопают в могилу.

Тетя, обернув руку краем передника, вытащила бутылочку из кастрюли.

— Хочешь спать? — спросила она.

— Ага.

— Ну ложись тут.

— Я буду спать у дедушки.

— Туда не ходи.

— Там лучше.

— Станный ты какой-то.

— Почему странный?

— Да ладно, это я так.

Тетя поставила бутылочку на алюминиевый поднос и понесла гостям.

— Скажи ему, чтоб он тебе побольше футонов постелил.
— Угу.

Тадао побежал по ночному саду к флигелю.

Дедушка сидел у очага все в той же позе.

— У тебя буду спать,— объявил Тадао.

— Ну-ну,— ответил дедушка.

— Ты что, есть не будешь?

— Неохота.

— А-а.

— Ну, будем ложиться?

— Не хочу еще.

— Я тебе постелю пока.

Дедушка достал из тумбы толстый футон. Тадао помог ему положить подушки. Дедушкина подушка, набитая сухой травой, была тяжелой и похрустывала. Тадао разделся и залез под одеяло. Дедушка сверху накрыл его еще одним тюфяком, снял жилет и штаны и лег рядом.

Тадао повернулся на бок, лицом к дедушке, и сжался в комок. Ноги мерзли. Дедушка закрыл глаза, веки у него были все в морщинах.

Тадао вспомнил про ушанку, встал и сходил за ней. Лег и завернулся в одеяло.

— Что, хорошая? — спросил дедушка.

— Ага. Ты мне сделай еще одну такого же размера.

— Ладно.

— Когда сделаешь?

— Как-нибудь.

— А завтра нельзя?

— Так быстро не получится.

— Жалко.

— Надо снять шкурку, высушить.

— Ну ладно, в следующий раз.

— Ты теперь когда приедешь? — спросил дедушка.

— Не знаю. Но я обязательно приеду, обещаю.

Из дома доносился непрерывный шум голосов.

— А бабушка умерла,— сказал Тадао.

— Угу.

Дедушка быстро встал и, дернув за шнурок, погасил свет.

— Пусть бы горел.

— Не уснешь так,— сказал дедушка.

Комнату теперь освещал только красноватый свет догорающего очага.

— Бабушка умерла,— снова сказал Тадао.

— Угу.

— Завтра хоронить будут.

— Сначала сожгут.

— А зачем?

— Чтобы остались одни кости.

— А потом уже закопают, да?

— Да.

Угли догорели, и лица дедушки стало не видеть.

— А зайцев всех убивают?

— Некоторыедохнут сами.

— Их тоже закапывают?

— Не знаю.

В ящике зашуршали зайцы. Тадао прислушался и услышал, как они жуют траву. Гости в доме шумели все громче.

— А жалко, что ты того зайца окровенил,— сказал Тадао.

— ...

— Говорят, когда человек умирает, ему одиноко.

— ...

— Бабушке, говорят, одиноко, потому что она умерла.

— Это кто тебе сказал?

— Тетя.

— Ничего не одиноко,— сказал дедушка.— Когда умираешь, все на этом кончается.

Тадао понемногу согрелся и вытянулся на футоне. Он понял, что дедушка повернулся к нему спиной.

— Давай-ка спать,— сказал дедушка.

— Давай.

Тадао сжал в руках свою ушанку.

Зайцы зашуршали в ящике травой, но когда в комнате

наступила тишина, они тоже притихли. Дедушка несколько раз перевернулся с боку на бок.

— Не можешь уснуть? — тихо спросил Тадао.

— Сплю, сплю,— ответил дедушка.

— Завтра опять будет идти снег?

— Будет.

— А бабушка...

— Все, спи.

— Ага.

Тадао хотел еще поговорить о зайцах, но скоро уснул.

Поздно ночью он проснулся от стонов. Тадао повернул голову и посмотрел в окно. Небо было ясным, светил месяц. Стонал дедушка. Он лежал к нему спиной, и Тадао при свете луны видел, как широкие дедушкины плечи мелко дрожали. Стоны не прекращались долго, и, прислушиваясь к ним, Тадао снова заснул.

Утро. Когда Тадао проснулся, за окном густо валил снег. Снег лежал даже на оконных переплетах. Дедушка на улице гремел лопатой.

А потом за Тадао под зонтиком пришла мама.

Ясуси Иноуэ

Потоп

井上靖

Потоп

В конце правления Сянь-ди, последнего императора Младшей династии Хань*, военачальник Со Май выступил из Дуньхуана** через заставу Юймыньгуань во главе тысячи воинов, чтобы основать военное поселение на берегу Кумхэ — реки, текущей в восточной части пустыни Такламакан. Впервые за последние тридцать лет китайские войска отправлялись в поход за пределы империи.

Еще триста лет назад великий У-ди*** прошел со своей армией по Западному Краю****, но набеги гуннов не прекращались, и из-за них нередко приходилось закрывать заставы Юймыньгуань и Яньгуань. Иногда власть империи распространялась далеко на запад, до самого горного хребта Кунь-Лунь, но в иные годы полчища гуннов, прорвавшись через Великую стену, разоряли страну до самой Хуанхэ.

С гуннской угрозой неизбежно сталкивались все ханьские императоры — и Старшей, и Младшей династий. Пока на границах империи кочевали гунны, Сыны Неба не знали покоя. Чтобы обезопасить от набегов земли, лежащие за Хуанхэ, надо было разбить воинственных кочевников, а для этого требовалось покорить весь Западный Край. Однако путь туда был далек и полон опасностей, сопредельные племена ненадежны, а затраты на снаряжение и содержание войска огромны, поэтому завоевание этих земель каждый раз приходилось откладывать. Многие поколения правителей Китая были не в силах справиться со столь сложным делом.

* Младшая династия Хань правила Китаем с 25 по 220 гг. н. э.

** Дуньхуан — город-крепость у северо-западного окончания Великой Китайской стены.

*** У-ди (141—87 гг. до н. э.) — 7-й император Старшей династии Хань.

**** Западный Край — северо-западная пограничная область.

В предшествующие века китайские войска бесчисленное множество раз отправлялись в поход для выполнения той же задачи, которая теперь была поручена Со Маю. В последний раз китайцы покинули Западный Край тридцать лет назад. С тех пор набеги гуннов участвовали, степная конница уже по несколько раз в год опустошала земли в верховьях Хуанхэ. Поэтому, стремясь лишить гуннов плацдарма для набегов, император Сянь-ди приказал своим воинам отправляться на запад. Со Маю было велено основать там крепость, которая явилась бы опорным пунктом для китайских войск. Никаких сведений о жизни полководца до этого похода не сохранилось. В древней летописи о нем сказано только: «Со Май, по прозвищу Янь И, родом из Дуньхуана, муж весьма достойный».

Исстари солдат для походов в дальние земли вербовали из беглых рабов, преступников и прочих отбросов общества. Из темных людишек набирал своих воинов Чжан Цянь, впервые исследовавший Западный Край во времена императора У-ди, из всякого сброда состояло и войско прославленного Ли Гуан-ли*, некогда ходившего в Давань** за знаменитыми ферганскими конями. И полководцы более позднего времени, воевавшие в Западном Крае — Бань Чао и Бань Юн***, тоже набирали своих воинов из отребья, людей без роду без племени.

Уж если таковы были армии великих полководцев, нетрудно представить, кто вошел в ту тысячу военных поселенцев, что отправлялись в поход с Со Маем. Военачальник, не старый еще мужчина — ему было под пятьдесят, — собрал в свой отряд всех отъявленных негодяев из дуньхуанского гарнизона. Единственное требование Со Мая к солдатам состояло в том, чтобы любой из них мог натянуть тетиву большого дальнобойного лука.

* Ли Гуан-Ли (? — 89 г. до н. э.) — знаменитый полководец.

** Давань — ханьское название Ферганы.

*** Бань Чао и Бань Юн — отец и сын, знаменитые полководцы I—II вв. н. э.

Никто, даже сам Со Май, не думал, что эта тысяча воинов, выйдя через Юймыньгуань, сумеет когда-нибудь вернуться обратно.

В день выступления в поход полководец встал во главе колонны и отдал команду трогаться в путь, но когда последние ряды отошли на два тѣ* от стен крепости Гуаньби, войско остановилось. Со Май давал солдатам возможность проститься с родиной, которую им вряд ли доведется увидеть вновь.

Выступление должно было состояться еще на рассвете, но времени на сборы ушло больше, чем предполагалось, и солнце, суля полуденный зной, уже высоко стояло в небе. Даже освещенный солнечными лучами, пепельно-серый силуэт крепости являл собой мрачное зрелище.

Некоторое время Со Май смотрел на дозорную башню, возвышавшуюся над Гуаньби. Потом отвернулся, решительно сузил глаза, и его лицо приняло обычное суровое выражение. Он приказал трогаться в путь.

Вся жизнь Со Мая прошла в боях с гуннами. Ему довелось сражаться с варварами по всей границе, и обычно было безразлично, где нести службу, но нынешнее задание — углубиться во вражеские земли — пришлось военачальнику не по душе. Он хорошо понимал, что значит создать военную колонию в самом сердце вражеской территории. Это несомненно даст новый толчок бесконечной войне с проклятыми гуннами. Придется без конца замирать беспокойные племена Западного Края, распахивать целину для обеспечения войска продовольствием. Даже если удастся закрепиться на берегах Кумхэ, долго им в пустыне не продержаться. При условии, что из Китая будет регулярно поступать помощь, у них еще есть шанс. Но если не будет — и воинов, и само поселение неизбежно проглотит пустыня. А особенно надеяться на помощь из Китая не приходилось. Держава слабела год от года, одолеваемый внутренними проблемами

* Тѣ — мера длины, примерно 110 м.

Сын Неба мог просто забыть о них. К тому же правителям страны нередко приходилось отменять данные ранее приказы.

Уже после полудня войско Со Мая вступило в бескрайнее царство песков. На третий день пути начались барханы: солдаты преодолевали один — за ним оказывался другой, и конца барханам не было видно. С четвертого дня отряд начал двигаться в боевом порядке, а к вечеру вышел к небольшому оазису и остановился на отдых. Ночью в лагере появилось десятка полтора одетых по-чужеземному женщин и мужчин, они принесли продавать воду. Было непонятно, откуда они узнали о появлении китайцев. Эти люди принадлежали к племени аланов.

Со Май подозвал одну из женщин и велел ей остаться на ночь в его палатке. Она не стала противиться. Кожа у аланки была блестящей, словно смазанная жиром, и прохладной, как рыба чешуя. В ней явно была примесь китайской крови, и она немного говорила по-китайски.

Лежа в палатке с Со Маем, женщина рассказала ему, что на месте этого оазиса когда-то находился Город Дракона, столица племени гян-лаев. Со Маю никогда не приходилось слышать о таком народе. Из рассказа женщины он не понял, сколько лет прошло с тех пор. Столица гян-лаев была огромна, говорила аланка, если на восходе солнца войти в западные ее ворота, выйти из восточных можно было только на закате. Город раскинулся на пологом берегу озера, вода из которого текла по широкому каналу, опоясывающему городские стены. Если встать на самое высокое место в городе и посмотреть на запад, в сторону озера, канал напоминал свернувшегося кольцом дракона. Город стоял на пластах каменной соли, и почва была такой твердой, что когда путники хотели дать отдых своим животным, им приходилось подстилать на землю циновки. Здесь часто бывали густые туманы, поэтому в иные дни нельзя было рассмотреть на небе солнца, а ночью — луны и звезд. А кроме мужчин и женщин племени гян-лаев, в этих местах жило

много злых духов, и однажды ночью озеро вышло из берегов, и город погрузился в его воды.

Со Май слушал рассказ аланки, смотрел в ее лицо, освещенное падавшим в палатку лунным светом, и вдруг почувствовал, что не хочет расставаться с этой женщиной.

На следующий день она отправилась в путь вместе с отрядом. По совету помощников, чтобы не привлекать к аланке внимания своего буйного воинства, Со Май передел ее в мужское платье, посадил на верблюда и велел держаться рядом с собой.

Несмотря на эти предосторожности, дня через два все уже знали, что в отряде есть женщина, однако никто не осмеливался к ней приблизиться. Солдаты боялись Со Мая.

На седьмой день войско вышло на каменистую равнину и теперь двигалось по пути, отмеченному костями людей и животных. За три дня отряд миновал три заброшенных крепости, полузасыпанных песком, с покосившимися на запад стенами и башнями. Много лет назад эти укрепления построили варвары, их попеременно захватывали то гуннские, то китайские воины, а теперь от них, брошенных людьми и затерянных в пустыне, остались одни развалины.

Миновав руины, войско на десятый день вышло к месту, откуда до Кумхэ, цели похода, оставалось всего полдня пути. Дождь, который начался еще вчера, превратился в настоящий ливень, люди и животные промокли до костей. На ночь разбили палатки, но ткань пропускала воду, и солдаты сильно страдали от холода и сырости.

В эту ночь неожиданно прибыло полтора десятка всадников от царя шаньшаней, они доставили продовольствие для войска. Потом трое купцов племени куча привезли на верблюдах товары для торговли. Они сообщили, что за рекой Кумхэ, куда держал путь Со Май, гунны уже в течение нескольких дней собирают большое войско.

Услышав об этом, военачальник, несмотря на позднее время, отдал приказ к выступлению. Он решил немедленно нанести удар по скоплению гуннов и уничтожить их. Под

проливным дождем отряд двинулся вперед форсированным маршем и к рассвету вышел к берегу Кумхэ, как раз напротив лагеря гуннов. Подойдя ближе к реке, Со Май увидел перед собой в сером свете занимающегося дня бешено несущиеся грязно-желтые воды. Нечего было и думать переправляться на ту сторону. Военачальник собирался с ходу форсировать реку и напасть на лагерь врага — в успехе атаки он не сомневался, — но взбесившийся поток препятствовал осуществлению его плана.

Обескураженный, Со Май застыл у воды. Берег зарос камышом, но не было ни одного дерева, чтобы укрыться от ливня. Войско продолжало мокнуть под дождем. Через полчаса к Со Маю, все еще завороченно глядевшему в бурные волны, подошел один из воинов. Это был Чжан, самый верный его помощник, с которым он делил невзгоды и лишения уже более десяти лет. Он сказал, что, по древнему поверью, гнев речного бога можно утихомирить, если принести ему в жертву женщину, и что другого выхода у них нет.

Со Май ничего ему не ответил. Тогда Чжан добавил, что, если они промедлят хотя бы день, к гуннам подойдет подкрепление и тогда положение станет крайне неблагоприятным. Помолчав еще немного, Со Май ответил так:

— Ван Цзунь был крепок в своей вере, и дамбу не прорвало*. А когда враги хотели обмануть Гуан У-ди, река Хутохэ замерзла**. Не думаю, чтобы боги воды переменились с тех пор.

Затем он велел соорудить на берегу алтарь и, встав перед ним, начал молиться. Со Май был готов на что угодно, лишь бы не отдавать аланку грязным водам Кумхэ. Он хотел умилостивить речного бога молитвами, упросить его

* Ван Цзунь — государственный деятель периода Старшей династии Хань. По преданию, предотвратил разлив Хуанхэ, принеся реке в жертву белого коня.

** Гуан У-ди — основатель Младшей династии Хань, император (27—57 гг. н. э.). Преследуемый врагами, он отступил к горной реке Хутохэ, поверив ложным сведениям, что она замерзла. Согласно легенде, когда он подошел к реке, она покрылась льдом.

обуздать поток. Легенда гласит, что некогда воину удалось таким образом усмирить бурные воды. Если это правда, почему бы и ему не попробовать добиться того же?

Со Май молился два часа, но желтые воды не убывали, а, наоборот, разливались все шире. Прошло еще два часа. Река вышла из берегов, бурые волны стали лизать ноги солдат. Со Май продолжал молиться.

Чжан вновь подошел к нему и опять заговорил о жертвоприношении. Чем молиться и ждать милости речного бога, не проще ли бросить женщину в воду, сказал он. Не дождавшись ответа военачальника, Чжан добавил, что так или иначе, а с этого места надо уходить, пока потоком не смыло людей и животных.

Тут Со Май внезапно выхватил из ножен меч, зажал клинок в зубах и задрал лицо к небу. Капли дождя били прямо в его широко раскрытые глаза. Чжан и все остальные, затаив дыхание, смотрели на своего командира. В его облике было что-то дьявольское. Вдруг алтарь, стоявший перед Со Маем, покосился, подмытый водой, и в следующий момент река унесла его прочь. Но военачальник все стоял над волнами в той же странной позе.

Наконец он шевельнулся, взял меч в руку и, повернувшись лицом к воинам, крикнул зычным голосом:

— Мои молитвы не доходят до неба, потому что в реке поселился злой дух! Мы покорим его мечом! Заставим реку отступить и переправимся на ту сторону!

Голос Со Мая громовым раскатом прокатился над рядами воинов.

Дождь прекратился, но вода в реке продолжала прибывать. Со Май отвел войско шагов на полтораста назад, на холм, и построил его в боевой порядок.

Лучники стали стрелять по потоку. Бесчисленное количество стрел пронзало желтые воды и исчезало в них. Потом вперед с боевым кличем кинулись пехотинцы. Били боевые барабаны, воины размахивали мечами и копьями, прыгали с берега в поток и, стоя на мелководье, рубили и кололи его.

Волны, пенясь, поднимались все выше. Немало воинов, потеряв опору под ногами, падало, и река уносила их прочь.

Бой продолжался до вечера. Кумхэ наступала, и лагерь все время приходилось передвигать назад, на более высокое место. И Со Маю, руководившему сражением, и самим воинам, рубившимся с рекой не на жизнь, а на смерть, стремительный, бурлящий поток казался огромным чудовищем. Он бесился и бился в корчах, то кидался воинам навстречу, то немного отступал, потом напирал опять.

К ночи обессиленные воины попадали на залитую водой землю и уснули.

На следующий день небо прояснилось, но воды в реке не убавилось. Теперь весь поток крутился водоворотами. С утра битва с Кумхэ разгорелась с новой силой. Как и вчера, сначала в реку полетели стрелы и камни, потом в дело пошли мечи и копья. Солнце высоко поднялось в небе, его холодные поначалу лучи стали по-полуденному жаркими, в них загадочно посверкивали клинки мечей и наконечники копий. Враг не уступал. При каждой новой атаке поток уносил несколько воинов.

Опять спустилась ночь. Прибыли военачальники племен шаньшаней, куча и карашаров, каждый привел по тысяче воинов. Эти народы, страдавшие от гуннских набегов, давно ждали прихода китайских войск. Поэтому, услышав о появлении отряда Со Мая, они поспешили присягнуть на верность империи.

Со Май решил присоединить иноплеменных воинов к своим и продолжать атаковать реку ночью. В освещенной голубым лунным светом пустыне четырехтысячное войско построилось в три колонны. Вновь загрели барабаны, солдаты с криком бросились вперед. Когда одна колонна отходила, ее сменяла другая. Но Кумхэ не отступала, лишь пенилась в лунном свете черными водоворотами.

Тогда Со Май решился на последнюю решительную атаку. Он собрал лошадей со всего войска и посадил на них самых сильных воинов. Полководец собирался нанести удар

конницей по самой середине потока и сам встал во главе трехсот всадников. По его знаку кони разом ударили копытами в песок. Бросившись верхом в реку, Со Май стал размахивать копьём. Течение подхватило его, понесло вниз и в конце концов выкинуло на мелководье. Обхватив коня за шею, Со Май выбрался на берег. Там уже стояло несколько десятков лошадей, блестя мокрыми телами в лунном свете, были там и воины, оставшиеся без коней. Понемногу выбирались на берег остальные.

Со Май построил и пересчитал воинов. Примерно половины людей и животных не хватало. Военачальника и солдат снесло далеко вниз по течению, и, чтобы вернуться в лагерь, им пришлось часа два пробираться по залитой водой равнине.

Вернувшись к войску, Со Май велел уцелевшим воинам снова идти в атаку и опять сам встал впереди. Но его конь отказывался трогаться с места, то же было и с другими лошадьми. Тогда Со Май выхватил меч и стал бить им плащмя коня по спине, остальные воины последовали его примеру. На сей раз, наученные горьким опытом, они не взяли с собой копий и вооружились одними мечами. Кое-как конница приблизилась к реке.

Выехав на берег, Со Май вдруг натянул поводья и взмахом меча приказал следовавшим за ним воинам остановиться. Несколько всадников, не сумев справиться с лошадьми, сорвались в воду. Со Май замер в ошеломлении, не зная, верить ли своим глазам: Кумхэ стала вполовину уже, она по-прежнему стремительно неслась мимо, но берега, еще недавно залитые водой, уже обнажились.

Со Май подозвал Чжана. Тот приблизился и тоже застыл в недоумении, уставившись на реку. В рядах воинов стали раздаваться победные крики.

Через час, разделившись на несколько частей, войско переправилось на другой берег. Затем, не теряя времени, китайцы, шаньшани, куча и карашары стремительно напали

на лагерь гуннов, находившийся в нескольких ли* от берега.

Сражение закончилось к рассвету, но воины, преследовавшие разбитого врага, вернулись в лагерь только через день — Со Май велел не прекращать погони, пока в живых не останется ни одного гунна.

Весь следующий год Со Май был занят трудами по строительству военной колонии на берегу Кумхэ, в отбитом у гуннов поселении. Прежде всего он соорудил временные бараки для воинов, потом провел из реки каналы для орошения полей. В работах китайцам помогали, сменяя друг друга, воины шаньшаней, куча и других племен и государств Западного Края. Слава Со Мая — победителя гуннов разнеслась по всей великой пустыне, а весть о том, что он покорил саму Кумхэ, повергла в трепет все тридцать народностей Такламакана.

В результате создания китайского военного поселения гунны на время перестали появляться в районе Кумхэ. Между колонией и заставой Юймыньгуань было построено два укрепления, и по этому пути стали ходить торговые караваны. Каждые три дня из Западного Края в империю теперь отправлялись купцы с товарами.

Приезжавшие из метрополии торговцы рассказывали, что в Китае ходят слухи, будто на территории Западного Края, как в стародавние времена, опять будет создано губернаторство, и это было похоже на правду. Местные племена давно добивались этого, и не раз через поселение Со Мая, следуя на восток, проезжали их послы, чтобы просить китайского императора об этой милости.

На второй год Со Май занялся строительством больших казарм и возведением крепостных стен. Красили глинобитные стены, из кирпича и досок строили дома, крыли соломенными матами крыши. Было построено четыре большие казармы — на пятьсот воинов каждая — и рядом две

* Ли — мера длины, примерно 415 метров.

дозорные башни. Высокая стена опоясывала всю колонию: и казармы, и учебный плац, и поселок, кроме того, в крепости были еще рынок, храм и кладбище. Для работы на строительстве слали людей и материалы со всего Западного Края. Кроме местного наречия, здесь можно было услышать согдский, гуннский, хотанский и множество других языков. От стен крепости во все стороны простирались возделанные поля. Они были расчерчены оросительными каналами, вдоль которых росли невысокие еще тополя. Половина китайских солдат трудилась на строительстве крепости, а другая половина вместе с местными жителями каждый день работала в полях. На второй год собрали первый урожай — пятьсот тысяч ши* чумизы и столько же пшеницы, а грядущие годы сулили еще более обильные урожаи.

Солдаты забыли о сражениях и занимались только строительством и земледелием. Со Май по-прежнему держал аланку при себе. Он привязался к этой тихой, незаметной женщине. Трудно было выразить словами, насколько она скрашивала его пребывание в землях варваров. Во всей крепости только комната Со Мая была убрана празднично. Глинобитный пол, застланный тростниковыми циновками, покрывали сверху еще разноцветные тканые ковры. В прихожей стояли кувшины для воды, а в комнате на полках красовались стеклянные миски и чашки, вывезенные из западных земель. Аланка не пользовалась косметикой, но любила красивые украшения — ожерелья из яшмы, тонкие бронзовые кольца, серьги из белых камешков.

Во время сбора первого урожая пшеницы, ровно через год после начала похода, из Дуньхуана от правителя Западного Края с посланцем была доставлена благодарственная грамота. Вместе с ней пришел приказ гарнизону возвращаться назад. Со Май сказал гонцу, что колония только начинает строиться, и выразил желание задержаться в землях варваров еще на некоторое время. Посланец рассказал военачальнику, что его победа над водами Кумхэ принесла

* Ши — мера веса. В ханьском Китае равнялась примерно 27 кг.

ему в Китае великую славу и, возможно, по возвращении он будет удостоен почетного титула Командующего Западом — звания, которое некогда было пожаловано прославленному покорителю Давани Ли Гуан-ли. Об этом говорила вся столица. Но блеск неожиданно свалившейся славы лишь испугал Со Мая — он всю жизнь прожил в тени и не стремился к большему.

Военачальник никому ни словом не упомянул о беседе с посланцем, но каким-то образом новости моментально разнеслись по гарнизону, и солдатам уже не терпелось вернуться домой. Повсюду разговоры велись только об этом.

Аланка рассказала Со Маю о слухах, ходивших в крепости, но он ответил, что вовсе не собирается возвращаться в Китай. Женщина никогда не проявляла открыто своих чувств, но тут, услышав, что Со Май остается, вся засветилась от радости и стала вдруг необычайно разговорчивой. Радостно блестя глазами, она болтала и смеялась без умолку. В этот день она надела все свои украшения. Глядя на нее, Со Май вновь почувствовал, как она ему дорога.

Он собрал на плацу весь гарнизон и объявил слух о возвращении ложным. Им предстоят годы боев с гуннами, сказал он. А кто будет вести разговоры о возвращении в Китай, того ждет смертная казнь вне зависимости от звания и заслуг.

Как бы в подтверждение его слов через несколько дней после этого воинам пришлось оставить мотыги и снова, впервые после долгого перерыва, взяться за мечи и копья, чтобы отразить набег стремительной гуннской конницы. После этого налеты гуннов уже не прекращались. Солдатам хватало работы и с мотыгой, и с мечом. Слухи о возвращении домой, как некогда воды Кумхэ, схлынули и забылись.

В третье лето собрали по миллиону ши чумизы и пшеницы. Со сбором урожая совпало окончание строительных работ, и в честь завершения трудов Со Май приказал устроить большой трехдневный праздник. По этому случаю к крепости стеклось огромное количество варваров в самых различных

нарядах — непонятно было, откуда их столько и взялось.

Каждый вечер Со Май вместе с аланкой поднимался на дозорную башню и любовался оттуда разноцветными огнями, которыми сверкала крепость. В один из этих трех вечеров женщина спросила, не означает ли празднество, что войско возвращается в Китай. Со Май, засмеявшись, стал ее успокаивать, но она, глядя ему в глаза, молча покачала головой. Почему ты мне не веришь? — спросил он. Я тебе верю, ответила женщина. Тебе я верю, а судьбе — нет, ибо ты не можешь знать, что тебя ждет завтра.

На этот раз опасения аланки оказались не пустыми страхами. Не зависящая от воли Со Мая судьба, которой боялась женщина, сказала свое слово полгода спустя.

В конце осени, когда закончились полевые работы, Со Май, взяв с собой половину гарнизона, пошел на северо-запад, где гунны собирали против него войско. Он рассчитывал, что поход продлится не более десяти дней, но бои затянулись. Сначала отряд племени куча передался врагу, потом войско пострадало от сильного града, необычно раннего в том году; бои шли с переменным успехом, и Со Мая пришлось задержаться надолго.

Когда гунны наконец были отброшены на север, шел уже новый год. В снежный день обессиленные и изможденные до неузнаваемости солдаты вернулись к воротам крепости. Но на пиках передового отряда верблюжьей кавалерии, как победные знамена, торчали головы гуннских вождей. На мертвых головах, на горбах верблюдов, на плечах воинов лежал снег.

Наконец-то Со Май вернулся домой. На пороге его встретила аланка, и по ее лицу, не такому, как всегда, он сразу понял: что-то случилось. Прямо с порога она провела его в комнату. Там сидел посланец из Китая, ждавший возвращения Со Мая уже целый месяц. У него был приказ с императорской печатью, предписывавший гарнизону возвращаться в метрополию, где Со Мая и его солдат ждали великие почести.

Отряд, присланный на смену, прибыл в крепость в начале июня, когда на ветвях тамариска распускались зеленые почки. С тех пор как был получен приказ о возвращении, Со Май все время был занят то стычками с гуннами, то полевыми работами, и у него не было времени подумать об аланке. Она же, казалось, все чаще задумывалась о своем будущем. В ее маленькой головке шевелились тревожные мысли. Возьмет ли Со Май ее с собой в Китай? А если да, смогут ли они там жить так же, как до сих пор? Когда она спрашивала его об этом, он всегда отвечал ей коротко: «Ну конечно, я возьму тебя с собой». Со Май действительно собирался увезти ее в Китай. Но когда в его памяти всплывали улицы и дома Ланьчжоу и Цзюцюани, он чувствовал, что женщине варварского племени там не место. Все в ней было не таким: и волосы, и глаза, и речь, и цвет кожи. Однако Со Май гнал такие мысли прочь. Он вообще не привык долго раздумывать, а уж из-за бабы и вовсе нечего было ломать голову.

Войско, пришедшее на смену, было в два раза больше отряда Со Мая. После того как он передал новому коменданту, молодому военачальнику, все дела, возвращающиеся в Китай провели в крепости еще три дня. Со Май не спешил уходить из колонии, которой было отдано столько трудов, да и хотелось дожидаться, пока кончатся дожди и установится ясная погода.

В день выступления новый гарнизон с почетом проводил отряд Со Мая в путь. За воротами собралось сотни две местных жителей, пришедших попрощаться с солдатами. Колонна двинулась по дороге, которую они сами когда-то проложили. Небо было ясным, сухой свежий ветерок шелестел листвой тополей и тамарисков, посаженных вдоль дороги, которая вела от крепости прямо к Кумхэ.

Выйдя на берег, Со Май увидел ту же картину, что и несколько лет назад. Широко разлившаяся река бурлила, выйдя из берегов.

Переправиться решено было во что бы то ни стало. Никому не хотелось возвращаться в крепость. В этом и Чжан,

и остальные помощники Со Мая были единомышленны. Так считали и все солдаты: не может войско, один раз уже заставившее Кумхэ покориться и прославившееся этой победой, отступить перед тем же врагом.

— Надо пробиваться с боем на ту сторону,— сказал один из командиров. Однако Со Май решил остановиться и подождать до утра. В первой половине дня погода стояла ясная, но с вечера пошел дождь, который постепенно усиливался.

Перед рассветом Чжан вошел в палатку военачальника и доложил, что река, впитав в себя дождевую воду, разлилась еще шире. Чтобы не стоять тут несколько дней, а то и недель, сказал он, надо сразиться с рекой, и чем скорее, тем лучше.

Оставив Чжана в палатке, Со Май вышел наружу один. Светало. Под проливным дождем военачальник подошел к берегу. Вода со вчерашнего дня явно прибыла. Долго он стоял так — одна-единственная мысль не давала ему покоя. Подобное он испытывал впервые, и время тянулось мучительно долго.

Наконец он вернулся в палатку и, оборотившись лицом к Чжану, ожидавшему ответа, тихо, но отчетливо сказал: — Принесем в жертву женщину.

Ошеломленный Чжан устался на своего командира. Единственной женщиной в отряде была аланка. Вновь обретя дар речи, он поблагодарил Со Мая за принятое решение и сказал, что хотел и сам это предложить, но не решался. Потом повернулся и быстро вышел.

Вскоре до слуха Со Мая донесся пронзительный женский крик. Это кричала аланка, которую вытаскивали из соседней палатки. Ее вопль разорвал ночную тишину и напомнил почему-то Со Маю крик диких птиц, который ему много раз приходилось слышать по ночам в горах во время последнего тяжелого похода против гуннов.

Когда рассвело, Со Май построил солдат на берегу. Дождь кончился. То ли от этого, то ли еще отчего, но

грязно-желтый поток, поглотивший аланку, несколько присмирел.

— Если переправляться, то сейчас,— стал торопить командира Чжан.

Войско прошло несколько сотен шагов по берегу, выбирая место для переправы, и разделилось на несколько групп. Первая из них вошла в воду. Поток изо всех сил пытался снести людей и животных, сорвал несколько тюков, притороченных к спинам лошадей, но все же группа достигла противоположного берега без потерь. Ни один солдат не погиб — и это из-за того, что мы принесли в жертву женщину, сказал Чжан. Со Май промолчал, он и сам так думал.

Группы солдат переправлялись на другой берег одна за другой. Со Май послал коня в реку во главе последней из них. Со времени начала переправы поток, казалось, стал еще спокойнее. Благополучно перебравшись на другой берег, военачальник почувствовал острую жалость и признательность к принесенной в жертву аланке. С его плеч вдруг словно упала огромная тяжесть, о существовании которой он до этого момента и не подозревал.

Войско снова двинулось в путь. Со Май с Чжаном ехали впереди. Вдруг Чжан остановил коня и закричал:

— Смотрите!

Натянув поводья, Со Май взглянул туда, куда показывал помощник.

С дальнего края равнины, занимая весь горизонт, двигалась какая-то плотная текучая масса, напоминавшая желтую лаву. Со Май не понял, что это такое. Желтая полоса неуклонно надвигалась, постепенно поглощая пустыню.

— Что это?! — закричал Со Май. Ни Чжан, ни остальные воины не могли ему ответить. «Что это такое? Что это?!» — шумели солдаты.

— Вода-а! Это наводнение! — раздался чей-то крик. И все поняли, что желтая стена, надвигающаяся на них по пустыне, — это огромная масса воды, гигантское наводнение. Грязные потоки где-то медленнее, где-то быстрее поглоща-

ли сушу, вырываясь вперед зловещими языками.

— Что будем делать? — спросил Чжан. Но Со Май не находил спасительного решения.

— Скорее вниз, по течению реки! — крикнул он. И справа и слева был грозный враг — вода, спасение могло быть только ниже по течению. Люди, кони, верблюды, смешав ряды, бросились сломя голову прочь. Карабкаясь по холмам, отряд бежал по равнине на юго-восток. Но вот все остановились — дальше пути не было. Перед ними расстиралось безбрежное море — ниже по течению все тоже было затоплено.

Отряд изменил направление бега и бросился на северо-восток. Но вскоре путь им опять преградила вода. Солдаты ринулись было в другую сторону, но тут Со Май увидел, что грязно-желтое покрывало вод скрыло землю уже у ближних холмов.

— Всем подниматься на холм! — приказал он, и в тот же миг люди и животные, толкаясь, бросились к ближайшей возвышенности. На лицах солдат была написана такая ярость, смешанная с отчаянием, какой не увидишь и в сражении.

Со Май поднялся на вершину холма. Люди и животные сгрудились там, словно притянутые гигантским магнитом. Со Май сверху осмотрел равнину. Все низины были залиты водой, и бескрайняя пустыня превратилась в огромное мутное море. Волны его бушевали всего за два холма от их пристанища.

Тут Со Май заметил еще кое-что. Далеко на северо-западе море вздымалось бурунами, и там, среди грязных вод, еле заметно торчала верхушка крепостной стены. Как ни велико было расстояние, ошибиться Со Май не мог. Это могла быть только его крепость, которую он сам построил и в которой все они жили до вчерашнего дня. Дома крестьян и поля, наверное, уже под водой, подумал он. А скоро это мутное море проглотит и его вместе с войском. На какое-то мгновение в памяти Со Мая всплыла легенда о Го-

роде Дракона, которую рассказала ему аланка в их первую ночь. Но воспоминание сразу же унеслось прочь. Легенда была ничуть не страшнее того, что теперь происходило наяву. Времени раздумывать не оставалось. Душу Со Май охватила обжигающая ярость. Он решил дать наводнению бой. Победить в этой схватке или погибнуть — другого выхода не было.

Со Май отдал приказ, и воины с готовностью подчинились. Всем было понятно, что, если не начать действовать, отряд погибнет.

Загремели барабаны, раздался боевой клич. Войско разделилось на две колонны. Первую возглавил Чжан, вторую — сам Со Май. Сначала с холма в атаку пошла колонна Чжана. Солдаты разом бросились вперед. Вскарабкались на соседний холм, побежали по его склону вниз. Со Май смотрел им вслед, и ему казалось, что атака бессмысленна. Атакующая колонна и водяной вал быстро двигались навстречу друг другу. Вот они столкнулись у подножия холма, и в ту же минуту колонны Чжана не стало. Поток проглотил ее шутя, в один миг.

Со Май приказал остатку войска идти в атаку. Он задышался от ярости и ненависти к этому врагу, сильнее которого встречать ему не приходилось. Размахивая копьем, военачальник поскакал впереди своих воинов. От шума наводнения дрожала земля, он заглушил все остальные звуки. Со Май увидел перед собой водяной вал, только что накрывший один из холмов и несущийся ему навстречу. Высоко подняв копье, полководец направил коня прямо на трехметровую стену воды. В один миг ни от Со Мая, ни от следовавших за ним людей и животных не осталось и следа.

Над пустыней, превратившейся в безбрежное море грязной воды, осталось только серое небо, на краю которого повис кроваво-красный круг солнца, тусклого, как во время затмения. Грохот наводнения заполнил весь мир. И не было у потопа ни минуты передышки. Ему надо было проглотить еще многое на своем пути.

Дзюньити Ватанабэ

Фонендоскоп

渡辺淳一

Фонендоскоп

I

Есть у меня друг по имени Кохэй Ясухара. Ему сорок два года, он доктор медицинских наук, работает главным хирургом в одной из столичных клиник.

Когда Ясухара, усатый и солидный (рост — 175 см, вес — 78 кг), в белоснежном халате, проходит с важным видом, как и подобает главному, по своей клинике, оборудованной в соответствии с последним словом техники, трудно поверить, что некогда, в самом начале своей врачебной карьеры, он был щуплым юнцом с детски наивным выражением лица, у него даже прозвище было Детка.

Тогдашний Ясухара был необычайно робок и застенчив для хирурга. Я до сих пор помню, как на одном из практических занятий в операционной, когда привезли ребенка с ожогами третьей степени, Ясухара отвернулся и все время смотрел в сторону.

Теперь, глядя на него, невозможно даже и представить, что когда-то такое было. Уверенные разрезы скальпелем, четкие указания ассистентам во время операций — кажется, что он хирургом родился.

Почему Ясухара выбрал именно хирургию? Обычно он отвечает на этот вопрос так.

— Просто я считаю,— говорит он,— что наиболее широкие возможности для работы медику предоставляет именно хирургия.

Но месяц назад, когда мы с ним, встретившись после долгой разлуки, сидели вдвоем за бокалом вина, он открыл мне истинную причину своего выбора и рассказал немало забавного о начале своей врачебной деятельности. С высоты своего нынешнего положения он мог позволить себе посмеяться над печальным опытом давно минувших дней.

Так я узнал, что Ясухара решил стать хирургом по од-

ной-единственной причине: у него совершенно не было слуха.

И действительно, хоть я знаком с Ясухара уже лет двадцать, я ни разу не слышал, чтобы он пел. Мне случалось видеть, как на вечеринках он вместе со всеми хлопал в ладоши в такт песне, но сам не столько пел, сколько рот открывал. Я думал, что он просто не любит петь, но мне и в голову не приходило, что ему, как говорится, медведь на ухо наступил. Это, кажется, действительно было нечто феноменальное: Ясухара рассказал, что, когда на уроках пения в школе учительница вызывала его, весь класс заранее начинал покачиваться со смеху.

Вполне естественно, что из-за отсутствия музыкального слуха Ясухара с большой неприязнью относился к фонендоскопу. Незнающие люди скажут: ну и что, при чем здесь музыкальный слух, были бы уши, да и ладно. Так вот, для их сведения замечу, что выслушивание сердца — это не просто слушать, есть «тук-тук» или нету. В этом самом «тук-тук» следует различать фазу, тоны, их наполненность, звуки, идущие из сосудов, дополнительные шумы в зависимости от положения сердца и тому подобное.

Когда Ясухара еще в его бытность студентом давали выслушать больного с таким выраженным пороком сердца, что это понял бы и неспециалист, он не мог уловить никакого различия с биением здорового сердца. Ставить каждый день диагнозы, пользуясь одним фонендоскопом, Ясухара никак не улыбалось, и поэтому он решил специализироваться по какой-нибудь отрасли медицины, где можно обходиться без этого инструмента. В той или иной степени к таким отраслям относились хирургия, оториноларингология и офтальмология, вот Ясухара и остановил свой выбор на хирургии, показавшейся ему наиболее из них интересной.

Действительно, редко увидишь хирурга с фонендоскопом на шее. Ему сей инструмент необходим лишь при измерении кровяного давления да для общего прослушивания грудной клетки, причем когда измеряешь давление, доста-

точно просто слышать пульсацию крови, не вникая особенно в природу этого звука. Очень важно, конечно, уметь хорошо выслушивать сердце и легкие, но, если даже и не удастся что-то определить, хирургу такое простительно, да и вообще это дело можно поручить терапевту.

Правда, сейчас Ясухара считает, что его решение стать хирургом из-за одного лишь отсутствия слуха было несколько необдуманным. Дело в том, что в наши дни, с развитием техники ЭКГ и рентгена, необходимость выслушивать сердце и легкие фонендоскопом практически отпала даже и для терапевтов. Теперь можно обходиться вообще без фонендоскопа — для постановки диагноза достаточно уметь читать ЭКГ и рентгеновские снимки.

Врача привыкли представлять себе с фонендоскопом или стетоскопом в руке, но медицина идет вперед, и это традиционное представление начинает устаревать.

Особенно же поражает Ясухара то, что теперь выпускают даже пластинки с записью работы сердца и легких.

Ставишь, например, пластинку под названием «Работа сердца здорового мужчины 25 лет» и слышишь запись: «тук-тук, так-тук, тук-тук». Стоит прослушать такую пластинку, и уже будешь иметь представление о том, что такое нормальная работа мужского сердца. Или, допустим, пластинка, озаглавленная: «Работа сердца женщины 23 лет с недостаточностью митрального клапана». Здесь и ритм и тоны будут совсем другими: «тук-тук-так, тук-тук-так».

Существуют пластинки со «звучанием» разных болезней: туберкулеза легких, астмы, недостаточности аортальных клапанов и многих других. Если приобрести комплект таких пластинок, можно, не вставая с дивана, изучить особенности «звучания» любого заболевания. То есть студенту, например, вполне можно обойтись без практических занятий.

В этом смысле Ясухара было учиться куда как трудней. Тогда студенты буквально дрались между собой из-за того, чтобы прослушать какого-нибудь больного с пороком сердца. Ведь чем больше прослушаешь больных, тем легче будет

сдать экзамен. Однако терпение больного, которого со всех сторон облепили студенты-медики с фонендоскопами, не безгранично. Больного приходилось упрашивать, чтобы он дал себя послушать еще разок. Если выразаться категориями спроса и предложения, больные с пороком сердца были острым дефицитом. Среди студентов попадались даже практичные молодые люди, которые делали больным подарки в обмен на возможность не спеша их послушать.

А теперь купил пластинку и лежи себе на диване, закрыв глаза,— занимаешься, как будто музыку слушаешь.

«Тук-так, тон-тон, так-так-тук, так-так» — незнающему человеку может показаться, что студент наслаждается какой-то своеобразной современной мелодией.

Когда воспитанный в старых традициях Ясухара видит такую картину, он сразу же выходит из себя. Ему хочется крикнуть:

— Нельзя так относиться к науке! Особенно к той, которая занимается здоровьем человека!

Недавно он накричал на молодого врача, который в ночь дежурства, лежа в кабинете на кушетке, слушал такую пластинку:

— Врач должен всему учиться сам, на собственном опыте! Разве у пластинки чему-нибудь научишься?

Напуганный неожиданным криком молодой врач аж подскочил на месте.

— Учиться надо у постели больного,— продолжал кипятился Ясухара,— иначе все твои знания гроша ломаного не стоят. Одной теории врачу недостаточно!

Под тяжелым взглядом главного хирурга молодой человек, не понимая, почему нельзя слушать медицинские пластинки, раз уж существует такая удобная штука, был вынужден выключить проигрыватель.

Конечно, в словах Ясухара много правды. Если, пользуясь пластинками, пропускать практические занятия, это удобство, несомненно, выйдет студенту боком. Однако на мой взгляд, нет ничего плохого в том, что врач в ночь де-

журства, когда нет работы, слушает медицинские записи. Во всяком случае, кричать тут нечего. Когда я заметил это Ясухара, он согласился со мной и сказал:

— Ну что ж, расскажу тебе всю правду.

И вот что он мне поведал.

II

Оказывается, с фонендоскопом у Ясухара были свои счеты. Как я уже говорил, в студенческие годы Ясухара совершенно не мог выслушивать сердце. Казалось бы, давно уйдя в хирургию и став одним из главных врачей крупной клиники, он не должен был столь болезненно к этому относиться, но в те уже далекие времена врачу с таким недостатком действительно работалось очень нелегко. Это теперь кажется пустяком, а тогда Ясухара, очевидно, немало выстрадал от сознания своей неполноценности.

Весьма неприятное воспоминание, связанное с фонендоскопом, относится к тому времени, когда Ясухара первый год работал врачом.

Тем летом он был послан в одномесячную командировку в К. К. — это небольшой приморский городок в провинции Босо с населением тысяч двадцать. Ясухара работал там в городской больнице, где кроме него было еще три врача: двое — главный врач-хирург и терапевт — когда-то окончили тот же колледж, что и он, да еще гинеколог, который приезжал из Тиба три раза в неделю.

Ясухара очень тогда важничал и до сих пор не может вспоминать об этом без стыда. Он только что стал полноправным врачом и приехал в провинциальную больницу из столичной университетской клиники. Конечно, если врач работает в большой клинике, это еще не означает, что он — светило, но тем не менее Ясухара очень гордился местом своей службы. Эта-то гордость его и подвела.

Как-то раз, примерно через неделю после приезда, во время его ночного дежурства одна женщина принесла

в больницу 12-летнюю девочку. Лицо девочки было бледным, она тяжело хватала воздух ртом и сжимала грудь руками. В истории болезни значилось, что ребенок уже третий год лечится от бронхиальной астмы. У нее и раньше часто бывали приступы, в какой-то степени и мать и дочь успели к ним даже привыкнуть. Лечащий врач рекомендовал в случае приступа колоть девочке глюкозу и неофилин.

В эту ночь вместе с Ясухара дежурили две медсестры: старшая — старая дева 42 лет и младшая — 22-летняя девушка. Обе они, похоже, хорошо знали девочку. Ясухара не был терапевтом, в болезнях такого рода не разбирался и решил последовать предписанию лечащего врача. Однако нельзя же назначить укол, не осмотрев пациента. Правда, и болезнь и метод лечения известны, но для того и существует врач, чтобы осмотреть больного и самому решить, что с ним делать. Да и как бы не пострадал престиж столичного врача, приехавшего из университетской клиники, если он обойдется без осмотра. Руководствуясь подобными соображениями, Ясухара приказал:

— Разденьте девочку.

Старшая сестра возразила:

— Доктор, девочке плохо. Ей нужно поскорее сделать укол. Ведь диагноз известен, зачем же осмотр?

— Что-о?!

Юный Ясухара решил, что над ним издеваются, и настоял на своем:

— Поменьше разговаривайте и принесите фонендоскоп.

Лицо старшей сестры на секунду исказилось от злости, потом она резко повернулась и пошла в соседний кабинет, где в чемоданчике лежали инструменты.

Ясухара начал сам расстегивать платье на груди у девочки. Однако время шло, а сестра не возвращалась. Ясухара сидел рядом с задыхающейся от кашля девочкой и ждал.

Надо сказать, что в то время он сильно задавался. Хоть опыта у него никакого и не было, он ни на минуту не забывал, что приехал из большой токийской больницы. Однако для

старшей сестры, которая проработала в больнице, пусть и провинциальной, больше двадцати лет, он, конечно, был просто молокососом.

Когда она наконец вернулась, Ясухара буквально вырвал у нее из рук фонендоскоп, откашлялся, как подобает опытному врачу, и не спеша приставил трубку к тощей груди ребенка.

Матери девочки хотелось не столько этого осмотра, сколько того, чтобы дочери сделали побыстрее укол,— тут сестра была права. Но с врачом мать спорить не стала и только обняла девочку покрепче. Старшая сестра демонстративно повернулась к Ясухара спиной, весь ее возмущенный вид говорил: «О господи, ну и врач!»

Из-за упрямства обоих мучилась прежде всего девочка. Ясухара, дабы не пострадал его престиж, выслушивал ее слишком долго, хотя, конечно, разобрать ничего не мог.

Когда он наконец закончил осмотр и уже собирался дать сестре указание сделать укол, обозначенный в истории болезни, та спросила у него:

— Ну, доктор, как дела у Митико? — Так звали девочку.

Ясухара лишь неопределенно мотнул головой и ничего не ответил. По правде говоря, возможно, из-за того, что девочка все время кашляла, он вообще ничего не расслышал. То, что больной кашляет или, допустим, плачет, конечно, не может служить врачу оправданием. Тогда педиатры, наверное, и вовсе не способны были бы выслушивать своих пациентов. Притом, что касается прослушивания легких, то, чем больше пациент кричит или плачет, тем больше он втягивает воздуха, и, значит, легкие, наоборот, должны прослушиваться лучше.

— Неважно все-таки с сердцем, да?

Спрашивала сестра вроде бы вежливо, но было в ее голосе и какое-то ехидство. «Занимался-занимался чепухой, да так ничего и не разобрал»,— звучало в нем.

Ясухара хотел проигнорировать ее вопрос, но она спрашивала как бы не от своего имени, а от имени матери девоч-

ки. И действительно, та с беспокойством смотрела в лицо Ясухара, ожидая ответа. Тут уж ему деваться было некуда.

— Да, сердце сильно ослаблено, есть и порок...

Загнанный в угол Ясухара, заглядывая в историю болезни, с грехом пополам пересказал диагноз лечащего врача. Неспециалистам термины по большей части ничего не говорят, так что ему удалось кое-как этим отделаться. Смысл его слов, в общем, сводился к тому, что ничего нового обнаружить не удалось. Мать, похоже, удовлетворилась этим и кивнула — ребенку пришлось пострадать несколько лишних минут, но зато доктор еще раз осмотрел его.

Только тут Ясухара сказал сестре:

— Пятипроцентную глюкозу и неофилин.

Но к пушей его досаде, не успел он договорить, как увидел, что сестра уже держит в руках шприц на 20 миллилитров.

Значит, не дожидаясь, пока Ясухара закончит осмотр, она, зная, что он скажет, приготовила шприц заранее. С одной стороны, это говорило о ее высоком профессиональном уровне, но с другой — о том, что она врача-молокососа ни в грош не ставит.

Увидев в руках сестры готовый шприц, Ясухара во второй раз буквально задохнулся от ярости, но поскольку все было сделано правильно, жаловаться ему было не на что, да и каждая секунда промедления продлевала страдания ребенка.

Всем своим видом демонстрируя, что все идет как надо, Ясухара указал матери на кушетку:

— Положите девочку.

Через десять — пятнадцать минут после укола девочка затихла. При астме после окончания приступа всегда наступает апатия.

Мать и дочь поблагодарили врача и сестер, поклонились и вышли из кабинета. Провожая их, старшая сестра ласково сказала:

— Всего доброго. Теперь все будет хорошо, Митико сразу сейчас уснет.

От ее самоуверенного тона Ясухара опять разозлился.

Шаги матери и дочери удалились, сестра стала промывать шприц. Оставшись с ней вдвоем, Ясухара очень хотел сделать ей какое-нибудь замечание, но сколько он ни думал, придраться было не к чему. Сестра делала все, что он велел: принесла фонендоскоп, сделала укол, и приступ у девочки благополучно прошел.

Тут сестра, то ли почувствовав настроение Ясухары, то ли просто так, спросила его:

- Плохо у девочки с сердцем, доктор?
- М-да, плоховато, — важно ответил он.
- А в какой стадии порок сердца?
- Порок выражен довольно сильно.

Поскольку прослушивание ничего Ясухара не дало, ему ничего не оставалось, как отвечать расплывчато.

- А как вы думаете, есть у нее возможность вылечиться?
- Вряд ли.

Отвечая на вопросы, Ясухара чувствовал, что сестра его как будто экзаменует. Ей наверняка все это было давно известно от лечащего терапевта и матери девочки. Так что расспрашивать о болезни молодого хирурга не было никакой необходимости.

Опытные медсестры любят подшутить над начинающим врачом, это называется у них «приласкать» новичка. Ясухара показалось, что старшая медсестра именно этим сейчас и занимается. Ему хотелось крикнуть:

— Прекрати надо мной издеваться! Думаешь, если я молод, я позволю себя дурачить?!

Однако сестра казалась совершенно невозмутимой: напевая модную песенку, она промыла шприц и положила его в стерилизатор. К сожалению, придраться было совершенно не к чему. А если обрушиться на нее ни за что ни про что, сразу будет видно, как мало у него уверенности в себе.

Ясухара проглотил гневные слова, спрятал фонендоскоп в карман халата и, всем своим видом изображая недовольство, вышел из кабинета.

Увы, сестра «приласкала» его сильнее, чем он думал.

Чтобы успокоиться, Ясухара зажег сигарету, пару раз затянулся и, вспомнив вдруг, как он курил прежде через фонендоскоп, засунул сигарету в трубку. Студенты-медики часто ради озорства курили таким образом, затягиваясь через ушные отверстия. Можно втягивать дым через оба отверстия, а можно через одно, если другое зажать пальцем. Резиновая трубка превращается в своеобразный кальян, никотиновая горечь исчезает, и дым легко тянется. Ясухара часто курил таким способом, тем более что особой любви к фонендоскопу он не испытывал. Раз он не может пользоваться фонендоскопом по назначению, считал он, у него хоть будет особая курительная трубка, пусть несколько дороговатая.

Но сколько Ясухара ни втягивал воздух, дым почему-то в рот ему не попадал. Торчащая из трубки сигарета тлела, но не горела. Не понимая, в чем дело, он внимательно осмотрел тройник фонендоскопа, но ни трещин, ни проколов нигде не было. И все равно, как он ни пытался затянуться, ничего не выходило. Значит, что-то не в порядке внутри трубки. Ясухара заглянул в ушные отверстия и с удивлением обнаружил плотно загнанные туда кусочки ваты. Тут, конечно, втягивай не втягивай, затяжки не получится. О, проклятье! И во время прослушивания, значит, тоже ничего не было слышно!

— Ах, стерва...

Ясухара топнул ногой от ярости, но теперь уже ничего не исправит. Сестра принесла ему фонендоскоп, заткнутый ватой. А он, не зная этого, с важным видом прослушивал девочку. Как же, наверное, потешалась над ним медсестра! А ведь она еще почтительно спрашивала его о результатах осмотра, и он отвечал, как будто действительно что-то слышал! Ну конечно, задавая вопросы, она в глубине души покатывалась со смеху.

Ясухара готов был кинуться в сестринскую и закатить ей сцену. «Приласкать» не «приласкать», но это уже переходит все границы. Ведь практически был сорван осмотр пациен-

та! Нет, с любой точки зрения старшая сестра была виновата.

— Чертова баба!

Побледневший от злости Ясухара накинул халат и уже взялся за ручку двери, но тут же замер на месте. Рассудок, хоть и охваченный гневом, успел шепнуть ему: ты ведешь себя глупо. Ворваться в сестринскую и накричать на виноватую ничего не стоит. Раз она совершила такой злонамеренный поступок, никто его не осудит. Но это только поверхностная сторона дела. Конечно, никто вслух его не упрекнет, и престиж его, казалось бы, не пострадает. Но если он накричит на сестру да еще, чего доброго, стукнет ее, она наверняка устроит истерику. И тогда уж точно младшая сестра разнесет по всей больнице невероятную весть о том, как новый врач обидел старшую сестру. Тогда солоно придется Ясухара. Хоть он и полноправный врач, но не свой, а командированный, из Токио. Служащие больницы внешне ведут себя почтительно, но для них он чужак — ведь через месяц и след его здесь простынет. Так что на их сочувствие и поддержку рассчитывать не приходится. Кроме того, ему не поздоровится, когда все узнают, как он опозорился с прослушиванием больной девочки. Для молодого врача это означало бы полностью подорвать свой авторитет.

Нет, так поступать нельзя. Нужно побороть гнев и придумать что-нибудь получше.

Через десять минут Ясухара позвонил и велел сестре зайти к нему в кабинет дежурного врача.

— А что случилось?

Нечистая совесть заставила сестру насторожиться.

— Относительно той девочки...

История с фонендоскопом действительно имела отношение к девочке, так что Ясухара не солгал.

— Может быть, прислать Эгава? — попыталась она подослать вместо себя младшую сестру.

— Нет, мне нужны вы. И немедленно.

Через несколько минут сестра постучалась в дверь кабинета. Ясухара открыл ей, держа фонендоскоп в правой руке.

— Вы неплохо сегодня потрудились.

Главное — выдержка. Подавляя злость, Ясухара старался говорить как можно мягче.

— Исправьте-ка вот это, пожалуйста.

Он протянул сестре фонендоскоп, и та, окончательно смутившись, опустила глаза.

— Не мог же я вытаскивать из него вату перед пациентами. Ну и в положение вы меня поставили!

Сказав это, Ясухара негромко рассмеялся и закрыл дверь.

— Ну и что было потом? — спросил его я.

Ясухара, усмехнувшись, ответил:

— Она мне до сих пор новогодние открытки присылает.

III

Был и еще один случай, которого Ясухара до сих пор не может простить фонендоскопу.

Это произошло на второй год после окончания университета. Его послали в командировку в городок С., что в пяти километрах от Кофу, в городскую больницу. Там так же, как и в К., было трое врачей, окончивших тот же колледж, что и Ясухара: хирург и два терапевта.

К этому времени Ясухара работал врачом второй год и уже не считался новичком — теперь у него были и более молодые коллеги, выпущенные на год позже. Говоря армейским языком, погоны у него украсились еще одной лычкой, и он уже считался среди врачей не рядовым, а ефрейтором. Год назад на пятиминутках он внимал профессору с самого последнего места, а сейчас благодаря появлению молодых врачей он мог лицезреть начальство с более близкого расстояния.

Не так давно он сам учился тому, как следует писать справки и мыть руки перед операцией, и вот он уже учит этому других.

Сложные операции ему пока еще не доверяли, но аппендицит, даже осложненный перитонитом, он уже оперировал вполне уверенно. Да и вообще по сравнению с тем временем, когда старшая сестра так ловко «приласкала» его в К., уверенности в своих силах у Ясухара стало гораздо больше.

Так обстояли дела, когда он прибыл в больницу города С.

Было, впрочем, у Ясухара еще одно слабое место. Дело в том, что, к счастью или к несчастью, ему ни разу не приходилось сталкиваться с летальным исходом.

Встреча со смертью для врача — это вопрос удачи. Если везет, то сталкиваешься с ней по нескольку раз в месяц, а если нет — можно, как Ясухара, проработать год, ни разу ее вблизи не увидев.

Уж, казалось бы, о каком везении может идти речь, когда дело касается смерти человека, но для молодого врача, которому поскорее надо набраться опыта, наблюдать смертельный исход очень важно.

Конечно, Ясухара, работая в университетской клинике, да к тому же в хирургическом отделении, неоднократно видел, как люди умирают. Когда в дневное время кому-либо из больных становится плохо, в комнате медперсонала поднимается шум, по коридору начинают бегать медсестры с кислородными подушками и капельницами, так что сразу ясно: где-то по соседству появился кандидат на тот свет. Достаточно последовать за медсестрами, и, если это даже и не твой больной, можешь сколько угодно наблюдать, как он умирает. Однако должного опыта так не приобретешь, это все равно что следить за ходом операции со стороны. Нет, нужно, чтобы ты сам боролся за жизнь больного, а когда все средства исчерпаны, услышал, как остановилось его сердце, и констатировал смерть.

В больших больницах врачу во время ночного дежурства нередко приходится заниматься умирающими в одиночку. Поэтому новичков начинают назначать в ночь только где-то через полгода после поступления на работу. Поначалу,

если в отделении есть тяжелобольные, кто-нибудь из старших коллег подменяет молодого врача или дежурит вместе с ним, но, естественно, это не может продолжаться до бесконечности; когда-то надо пробовать и самому.

И вот однажды ночью, когда в палатах все тихо и молодой врач спокойно сидит в дежурном кабинете, у кого-то из больных вдруг резко ухудшается состояние или на «скорой» привозят умирающего, и новичку приходится «выносить». Во врачебном жаргоне «выносить» означает «констатировать смерть», произошло это от выражения «выносить носилки с телом».

Когда именно молодому врачу доведется впервые столкнуться со смертью пациента — никому не известно. И своего-то часа человек предугадать не может, а уж в больнице, где больных видимо-невидимо, предсказать, когда именно будешь «выносить», и вовсе невозможно.

В больнице в любое время суток обязательно есть дежурный врач. В госпиталях покрупнее — по врачу на каждое отделение, в маленьких — на всю больницу один или двое, хирург и терапевт. Дежурный отвечает за все, что происходит в больнице за время его дежурства, и обязан принимать все необходимые меры.

Такое дежурство — первое серьезное испытание для новичка. Пока с больными все в порядке, дежурный может отдыхать. С точки зрения молодого врача, работка не бей лежачего, да и неопытности проявиться негде. Но если все ночные дежурства будут проходить спокойно, опыта у врача так никогда и не появится — где не за что отвечать, там вряд ли чему-нибудь научишься. Поэтому для молодого врача дежурство без происшествий даже вредно. С точки зрения совершенствующегося медика, пусть лучше дежурство будет хлопотным, если хлопот, конечно, не слишком много.

Когда в госпитале есть больной, который не сегодня-завтра может «кончиться», лечащий врач обычно оставляет дежурному свои указания на случай резкого ухудшения.

На медицинском жаргоне под словом «кончиться» подразумевается «окончить свой земной путь».

Например, если в больнице лежит раковый больной, которому жить осталось считанные дни, в истории болезни будет записано следующее: «В случае нарушения дыхания дать кислород, измерить давление, подключить капельницу, затем сделать инъекции того-то и того-то». Дежурный врач во всем следует этому предписанию, хотя членам семьи умирающего, если они присутствуют, кажется, что он действует по собственной инициативе.

Если случится что-нибудь непредвиденное, всегда можно позвонить лечащему врачу или кому-нибудь из старших коллег, живущих поблизости. Молодому врачу известно, что если в ночь дежурства он один с чем-то справиться будет не в состоянии, то должен позвонить тому, кто в этот день его «страхует». В общем, это напоминает связь машиниста электропоезда с диспетчером.

«Страхающего» вызывают, например, если в больницу неожиданно поступает больной в тяжелом состоянии — в шоке или с внутренними повреждениями — и дежурный врач видит, что без помощи ему не обойтись.

Но если состояние пациента безнадежно и ясно, что больше нескольких дней ему все равно не протянуть, дежурный врач, как правило, не считает нужным обращаться за помощью. Претензии в таких случаях возникают редко, потому что если не сам больной, то его семья уже в какой-то степени смирилась с неизбежным.

Когда врач констатирует смерть, самое трудное — объявить горестную весть семье умершего, ибо определенного «протокола» на этот счет не предусмотрено.

Представьте себе такую картину: у постели больного сидит врач и пристально следит за его лицом, приставив к груди фонендоскоп. Вокруг, затаив дыхание, теснятся родственники. Атмосфера напряженная, как всегда у постели умирающего. Вот дыхания уже нет, сердце остановилось. Как должен врач сообщить о смерти родственникам?

Прежде всего он произвольно убирает от груди умершего фонендоскоп. Уже этот жест повергает членов семьи в трепет. Они смотрят со страхом врачу в лицо и видят, как оно мрачнеет, как на лбу собираются морщины. «Конец»,— думают родственники, но врач пока еще ничего не сказал. Вся семья не сводит с него глаз, и он кожей ощущает на себе этот коллективный взгляд.

Тут многие врачи обычно сворачивают фонендоскоп и просто молча склоняют перед покойником голову. Одни при этом засовывают фонендоскоп в карман халата, другие продолжают держать его в руке — это неважно. Главное, что при этом не произносится ни единого слова.

Родственникам, уже достаточно напуганным тем, что врач перестал выслушивать сердце больного, все становится ясно, когда они видят этот безмолвный поклон. «Значит, все...» Их взгляды опять возвращаются к лицу умершего, и в следующее мгновение они припадают к его телу.

— Отец!

— Папа, папочка!

— Милый!

Голоса родственников сливаются в общий стон, а человек на кровати лежит недвижим и безмолвен.

Убедившись, что члены семьи заняты умершим, врач одними глазами велит сестре принять необходимые меры и, поклонившись покойнику еще раз, удаляется из палаты.

Таков первый способ сообщения о смерти. Не знаю, как с точки зрения родственников, но для врача он наиболее удобен, потому что никаких слов произносить не приходится. Достаточно просто свернуть фонендоскоп и молча склонить голову. Ну и, естественно, не следует забывать о выражении лица.

Впрочем, об этом вряд ли можно забыть, когда у тебя на глазах умирает человек. В такие моменты никому из врачей не придет в голову: «Ну вот и чудесно, теперь можно спокойно поспать до утра». Если об этом и подумаешь, то уже позднее, когда возня с покойником закон-

чена, а в миг смерти мрачное выражение на лице врача появляется самым естественным образом.

Второй способ извещения о горестном событии предусматривает какое-либо высказывание со стороны врача. Хорошо, если члены семьи все поняли без слов, но нередко встречаются и такие, до которых смысл молчаливого поклона не доходит. Они начинают недоумевать, почему врач вдруг убрал фонендоскоп:

— В чем дело, доктор, что-нибудь случилось?

А иногда, совсем растерявшись от горя, кто-нибудь из родственников спрашивает:

— Он еще живой или уже нет?

Тогда врач, чтобы разрешить все сомнения, провозглашает:

— Уже ничего нельзя было сделать.

Тут уж какими бы тупыми или взволнованными ни были члены семьи, до них доходит, что человек умер.

Слова, которыми объявляют о смерти, могут быть различными. Некоторые врачи говорят:

— Все, конец.

Это, правда, напоминает игру в шахматы, когда один из играющих признает свое поражение. Причем обычно это происходит до объявления мата, а здесь, увы, мат уже поставлен.

Можно, конечно, и так:

— Больной скончался.

Но это как-то не звучит в тех случаях, когда пациент долгое время перед смертью находился в бессознательном состоянии, то есть дыхание у него еще сохранялось, но жить фактически он давно уже перестал. Тут поневоле хочется добавить «только что», и иные врачи так и говорят:

— Больной только что скончался.

Точнее не скажешь. Звучит суховато, но во всяком случае сомнений у родственников не оставляет.

Наиболее приемлемым считается следующий вариант:

— Мы сделали все возможное, чтобы спасти жизнь боль-

ного, но медицина, увы, бессильна.— И склонить голову.

В этих словах и сообщение о смерти, и сочувствие, и признание своей вины перед родственниками — в общем, все что нужно. Правда, в жизни произнести эту фразу не так просто, тем более в больничной палате, которую только что посетила смерть,— вряд ли врача дослушают до конца. Родственники умершего или начнут рыдать на середине, или бросятся обнимать покойного, так что по крайней мере половина фразы пропадет. Таким образом, по содержанию этот вариант хорош, но на практике не очень удобен.

Некоторые врачи почему-то просто говорят:

— Прощу простить.

По их мнению, эти слова достаточно выразительны. Однако врачу, который не лечил больного, а присутствует при его смерти случайно, будучи на дежурстве, извиняться вроде бы не за что. Вряд ли, произнося эти слова, он будет вкладывать в них какой-нибудь смысл. Все же этот вариант наряду с «Больной скончался» используется довольно часто.

Не следует забывать и о жестах. Здесь тоже существуют разные способы поведения. Голову склоняют все, но иные врачи при этом еще и складывают ладони как бы в молитве. Конечно, на самом деле никто из них в этот момент не молится, но считается, что на семью умершего такой жест производит весьма благоприятное впечатление. Выглядит это, во всяком случае, очень пристойно. Жаль только, оценить столь благородный жест некому: услышав, что наступила смерть, родственники перестают обращать на врача внимание и склоняются над умершим.

Не следует забывать, конечно, что для врача, в отличие от родственников, смерть пациента является фактом логичным и закономерным. Ни горя, ни особых переживаний он в связи с ней не испытывает. Вполне естественно поэтому, что он остается спокойным. Сохраняя хладнокровие, врач лишь отдает последнюю дань умершему. Большого от него и не требуется. Но безразличным он быть не должен: хорош будет врач, который, удостоверившись в смерти

больного, просто встанет и небрежно бросит: «Все, умер».

Понятно, что для врача-новичка, которому ни разу не приходилось констатировать смерть, первый подобный опыт сопряжен с немалыми трудностями и волнениями. Ведь доктор — не просто лицо, извещающее о смерти, он одновременно является свидетелем человеческого горя. Но, относясь к этому горю с уважением и сочувствием, он тем не менее не должен забывать о своих прямых обязанностях.

В общем, у новичка хватает поводов для волнений: не сделает ли он какой-нибудь ошибки, сумеет ли вовремя определить наступление смерти, не потеряет ли самообладания и не уронит ли своего авторитета в глазах медсестер и членов семьи умирающего.

Так или иначе, рано или поздно молодому врачу в своей работе не избежать встречи со смертью. Как только это произойдет, он сразу спешит сообщить приятелям:

— А я вчера «выносил».

Если все обошлось благополучно, молодой врач чувствует себя именинником, будто он совершил какой-то выдающийся поступок, и своим друзьям, которым «выносить» еще не доводилось, он говорит:

— Подумаешь! Это сущая ерунда. Главное, ребята, не терять спокойствия.

Вроде бы ничего замечательного он не совершил, но чувствует себя уже опытным врачом, да и друзья смотрят на него с почтением. Вот ведь парадокс: человек наблюдает самое страшное — смерть другого человека — и становится от этого увереннее в себе.

Зная, что в один прекрасный день ему все-таки придется «выносить», начинающий врач заранее волнуется и страшится этого. Каждый новичок в глубине души мечтает: «Скорей бы!» Он и хочет пройти через это, и боится.

Ясухара в этом отношении крайне не везло. Он целый год проработал в университетской клинике и так ни разу и не «вынес». От желания врача такие дела, к сожалению, не зависят. Ну что ты будешь делать, если в твое дежурство

никто не умирает! Удача — вещь коварная. Нехорошо, наверное, смерть называть «удачей» — для врача, может быть, так оно и есть, но сам больной и его родственники придерживаются на этот счет противоположного мнения. Однако войдем в положение Ясухара и простим ему подобную терминологию.

И вот Ясухара, которому за целый год работы в большой клинике ни разу не «повезло», столкнулся с долгожданной «удачей» на третий день пребывания в городе С.

Май только начался, но с самого утра в тот день было жарко и душно, как перед грозой. В пять часов вечера, когда врачи стали собираться домой, терапевт сказал:

— У меня в восьмой лежит больной с циррозом печени. Он совсем плох, не сегодня-завтра «кончится». Вы последите за ним, пожалуйста.

Состояние больного стало критическим примерно неделю назад, и терапевт еще тогда предупредил дежурного о возможном летальном исходе, но пациент каким-то чудом до сих пор был жив.

Ясухара просьбе коллеги, разумеется, был только рад. Вслух он, конечно, благодарить не стал, но в глубине души испытал огромную радость.

Когда все ушли и в больнице из персонала остались только Ясухара и две дежурные сестры, он, все время думая о том больном, велел принести его историю болезни.

Пациента звали Накамура, ему было 52 года, он служил здесь же, в городе С., в лесозаготовительной компании.

В истории болезни значилось, что неделю назад больному стало хуже, он начал задыхаться, но в ту ночь, к счастью, дежурил опытный терапевт, который принял все необходимые меры: подключил капельницу, дал кислородную подушку, ввел кардиостимуляторы и сделал переливание крови.

Сердце у Накамура, видимо, было на редкость выносливым. Когда в восемь часов во время обхода Ясухара заглянул к нему в палату, этот больной, от которого остались

лишь кожа да кости, а лицо приобрело шафранно-желтый оттенок, находился в полном сознании.

Вернувшись после обхода в кабинет, Ясухара спросил у сестры:

— Как думаете, будем сегодня «выносить»?

— Из тяжелых у нас только Накамура, но я думаю, все обойдется.

— Терапевт сказал, что его дела совсем плохи.

— Да он каждый день это твердит, а Накамура все держится.

Медсестра, очевидно навидавшаяся всякого за годы работы в больнице, была совершенно спокойна.

— Ну а вдруг все-таки, а?

— Не волнуйтесь, доктор, мы вас не подведем.

— Что ж, и я не подведу.

— Вот и прекрасно.

Поговорив с сестрой, Ясухара как-то и сам уверился в том, что сегодня ничего не произойдет. До десяти он смотрел в приемной телевизор, потом вернулся в дежурный кабинет, полистал медицинские журналы и в полдвенадцатого улегся спать. Перед этим он позвонил сестре и спросил, как дела. «Все нормально», — ответила она. Вешая телефонную трубку, Ясухара подумал: «Опять не вышло», испытывая смешанное чувство облегчения и разочарования.

Но то ли господь бог сжалился над молодым врачом, то ли, наоборот, решил захватить его врасплох, но в четыре часа утра в дежурном кабинете затрезвонил телефон.

— Доктор, идите скорей. С Накамура что-то не так.

— Что?

— По-моему, ему стало хуже.

— Хорошо. Сейчас.

«Неужели наконец «вынесу»?» — думал Ясухара, поспешно натягивая поверх свитера халат. Потом сунул ноги в шлепанцы и помчался в восьмую палату.

Палата была двухместной, но вторая койка пустовала.

Над кроватью Накамура склонились две тени — жены и медсестры Аикава.

Ясухара взял у медсестры фонендоскоп и приложил его к груди больного.

Тук-так, тук-так-так — сердце хоть и неровно, еле слышно, но все же билось. Пульс тоже пока прощупывался, но сосчитать его было трудно. Освещенное лампой лицо больного казалось иссиня-бледным, полузакрытые глаза смотрели в потолок. Дыхание едва было заметно по легкому трепетанию ноздрей, грудь почти не поднималась.

— Когда это началось?

— Дыхание изменилось минут десять назад, да? — оглянулась на жену медсестра. Та утвердительно кивнула.

Было очевидно, что ослабление организма вызвало сердечную недостаточность.

— Кислородную подушку, глюкозу и терапевтик.

Ясухара повторил предписание, вычитанное вечером в истории болезни. Если оно один раз помогло, хуже от него не будет. Когда сестра вернулась в палату, он сказал:

— Известите семью. На всякий случай.

Жена больного от волнения потеряла дар речи, за нее ответила сестра:

— Уже позвонили.

— Они скоро будут?

— Да, здесь недалеко.

— Приготовьте капельницу.

Медсестра опять убежала. Больничная палата стала напоминать заводской цех в разгар рабочего дня.

Ясухара держал фонендоскоп у груди больного, одновременно нащупывая левой рукой его пульс.

Тук, тук-так-так, тук-так... — Сердце билось все более неровно. Как бы сильно Ясухара ни сдавливал запястье, пульс не прощупывался, что свидетельствовало о выраженной сердечной недостаточности и о том, что кровяное давление приближалось к нулю.

Часы показывали 4.10 утра. До рассвета оставался еще

час. Глядя в звездное небо за окном, Ясухара подумал, что «выносить», очевидно, придется еще затемно.

Вернулась сестра. Она положила на кровать кислородную подушку, всунула резиновую трубку больному в нос. Затем попыталась попасть иглой в вену у локтя. На костлявой руке вена выделялась отчетливо, но из-за низкого кровяного давления ввести иглу удалось только с третьего раза. Сестра сразу же отрегулировала капельницу, и кардиостимулятор стал поступать в кровь больного. Это подействовало почти сразу — сердце заработало активней и ровней. Лицо Накамура, казалось, тоже порозовело. Но через несколько минут ритм опять нарушился.

— Продолжайте капельницу, — приказал сестре Ясухара.

Жена все так же сидела у постели, уставившись в лицо мужа остановившимся взглядом.

Тут в коридоре послышались торопливые шаги сразу нескольких человек. Сестра Аикава вышла за дверь, поговорила с ними о чем-то и, вернувшись, доложила:

— Пришли родственники.

— Пусть войдут.

Жена подняла голову и обернулась к двери. В палату вошли сначала двое пожилых мужчин — похоже, братьев больного, потом женщина и трое молодых людей — очевидно, его дети: юноша и девушка лет двадцати и еще мальчик-старшеклассник. В палате стало тесновато.

— Тераптик.

— Слушаюсь, доктор.

— И эфедрин.

При каждой реплике Ясухара вся семья разом испуганно поднимала на него глаза, стараясь не пропустить ни одного его жеста: от врача зависело спасение близкого им человека.

Ясухара, хоть и находился в постоянном напряжении, в глубине души блаженствовал — все ему доверяют, жадно ловят каждое его слово. Он чувствовал себя персонажем в разворачивающемся действе.

Медсестра принесла еще одну ампулу с кардиостимулятором. Теперь укол надо было делать прямо в сердце. Ясухара приставил шприц к груди больного. Глаза родственников, не отрываясь, следили за его руками. Чувствуя на себе их взгляды, он решительно ввел иглу. Жидкость в шприце покраснела от крови, потом вся медленно ушла в полость сердца.

Больной застонал, и у родственников вырвался общий вздох. Реакция на укол была мгновенной: сердце опять заработало ритмично, стал прощупываться пульс.

Однако действие кардиостимулятора продолжалось не более пяти минут. Биение сердца опять ослабло, стало неровным и еле слышным. Сделать уже ничего было нельзя. Через минуту сердцебиение стало еще слабей, дыхание вновь было заметно лишь по легкому трепетанию ноздрей, реакция зрачков на свет отсутствовала.

Ясухара все время держал фонендоскоп у сердца больного, пытаясь левой рукой нащупать пульс.

В палате стало тихо, все затаили дыхание, только глаза присутствующих передвигались с предмета на предмет. Прошла еще минута. Биение сердца теперь можно было различить, лишь с силой прижимая фонендоскоп к груди.

Смерть приближалась, человеческий организм неуклонно угасал. «Вот сейчас, сейчас», — думал Ясухара. Теперь, когда смертельный исход уже не вызывал сомнений, он вдруг заволновался, не зная, как поступить дальше. На него смотрят семеро родственников умирающего и две медсестры. Все они уже поняли, что смерть неизбежна. Вопрос только в том, в какой именно момент она наступит. И объявить об этом должен он, Ясухара. Молодой врач задумался, вдруг проникнувшись ответственностью поставленной перед ним задачи. Палата представилась ему сценой, где умирающий был актером, а родственники — зрителями. Стоит ему поднять руку и объявить: «Свершилось!» — и сразу актер падет мертвым, зрители зарыдают и наступит развязка пьесы. Но только когда нужно подать эту команду?

Ясухара испытывал волнение режиссера, не знающего, справится ли он со сложной постановкой.

Пока его одолевали тревожные мысли, дыхание больного вдруг прекратилось. Заметив это, все родственники разом как-то подались вперед. Ясухара надавил фонендоскопом на грудь и не услышал ни звука. Ни дыхания, ни пульса, ни биения сердца — ничего.

«Умер», — подумал он, и тут же с губ у него сорвалось:
— Умер.

Все родственники повернулись к Ясухара, как бы желая убедиться, что он не шутит, и тут же бросились к кровати:

— Отец!

— Папа!

— Брат!

Все стоны слились воедино, и покойник оказался погребенным под телами склонившихся над ним родственников.

Ясухара свернул фонендоскоп и, повернувшись к усопшему, склонил голову. Теперь, когда все уже было позади, он считал, что его первая встреча со смертью прошла благополучно. Глядя на рыдающих родственников, Ясухара сознавал, что его роль окончена.

И тут произошло нечто ужасное.

Когда Ясухара уже подходил к двери, за его спиной вдруг раздался общий крик удивления и ужаса, и все семеро родственников шарахнулись от кровати. Тонко вскрикнула сестра Аикава. Обернувшись, Ясухара увидел, как усопший набрал полную грудь воздуха и выдохнул: «Фу-у-у...»

— Он еще жив!

Вы представьте: пациент, только что объявленный умершим, вдруг оживает, причем происходит это в присутствии оплакивающих его родственников!

И тогда Ясухара вспомнил о дыхании Чейн-Стокса. Ему чуть не стало дурно. «Ох, болван, как же это я ляпнул не подумавши! Ну и влип!..» — завертели у него в голове горестные мысли.

Дыханием Чейн-Стокса называются несколько глубоких

спазматических вдохов и выдохов, которые происходят непосредственно перед наступлением смерти. С приближением конца в организме резко снижается содержание кислорода и повышается содержание углекислого газа. Избыток углекислого газа возбуждает дыхательный центр головного мозга и вызывает несколько судорожных вдохов, которые являются верным признаком приближающейся кончины, но человек в это время еще жив. Смерть наступает с последним выдохом. Если, поторопившись, объявить о кончине сразу после первой остановки дыхания, вполне можно попасть в такое же дурацкое положение, в каком оказался тогда Ясухара.

IV

— Ну и что было дальше? — спросил я у него, сдерживая смех. Он, покривившись, ответил:

— Пришлось все им объяснить.

— Что объяснить?

— Ну, что он все равно сейчас умрет.

— Все равно умрет?

— Да. Я им так и сказал: «Не волнуйтесь, он сейчас умрет».

Я представил себе эту картину и задохнулся от хохота.

— А что мне оставалось делать? — грустно заметил Ясухара, пощипывая усики.

— Ну а потом?

— Через пару минут он действительно умер.

— Естественно.

— Честно говоря, больше всего в ту минуту я боялся, что он возьмет и выживет.

— Да, для врача это был бы конец.

— Еще бы...

Я справился наконец с приступом смеха и спросил:

— Родственники, наверное, все равно на тебя обиделись?

— Да уж. Когда я сказал: «Ну все, теперь он действитель-

но умер», они посмотрели на меня с настоящей злобой.

— А потом?

— Поскольку он все-таки умер, все обошлось. Правда, из-за этой истории я заработал себе прозвище.

— Какое?

— Ты смотри, никому ни слова. Об этом знали только хирург Одзава и медсестры.

— Буду нем как могила. Какое?

— Доктор Щасумрет.

— Доктор Щасумрет?

Я засмеялся, и Ясухара тоже улыбнулся.

— После этого мне та больница совсем разонравилась, и хотя я должен был проработать там три месяца, но уже через месяц, сославшись на болезнь матери, уехал назад, в университетскую клинику.

— Попало тебе за это?

— Меня ругали только за то, что я зря распереживался. Мол, раз сердце остановилось и дыхания нет, значит, человек умер и жить уже не будет, а объявишь ты об этом пятью секундами позже или раньше, роли не играет.

— Это верно.

— Ну я и успокоился, а то сам не свой ходил. На днях учил одного молодого врача, чтобы он ни в коем случае не терял самообладания, когда будет впервые «выносить».

— Себя в пример не приводил?

— Привел. Такая, говорю, история произошла с одним моим другом.

— Ну ты даешь!

— А что, имен же я не называл.

«Ну и деятель!» — подумал я, глядя на бесстрастное, как у Будды, лицо Ясухара.

— А в С. ты больше не ездил?

— Нет. Хотя с хирургом Одзава изредка встречаюсь.

— Не припоминает он тебе эту историю?

— Да нет. Уже, поди, лет восемнадцать прошло. Но своим молодым врачам ее рассказывает.

— Что, и твое имя называет?

— Нет, конечно. Просто говорит: «Одно нынешнее светило».

Ясухара опять подергал себя за редкий ус.

— Теперь ты понимаешь, что у меня с фонендоскопом свои счеты.

— Еще бы, натерпелся ты от него немало.

Ясухара кивнул, а потом сказал:

— Хотя, знаешь, в последнее время я вот о чем подумываю...

— О чем?

— Конечно, здорово я тогда влип с этим умирающим, что и говорить... Но все-таки, когда «выносишь», испытываешь какое-то особое волнение, какое-то напряжение, что ли...

— А как же без этого — ведь человек умирает.

— Я не о том. Понимаешь, чем больше рядом родных и близких умирающего, тем больше ощущаешь это напряжение. Торжественно ты скажешь «Больной скончался» или протараторишь скороговоркой — не так в конце концов важно. Хуже, когда и говорить ничего не приходится.

— И такое бывает?

— Если твой пациент умирает в одиночестве.

— А-а...

— Тут что ни ляпни, никто не рассердится и никто не обидится.

— Это когда умирающий одинок или его семья где-нибудь далеко, да?

— Пусть сердятся, пусть даже над тобой потом смеются, но только бы, когда «выносишь», кто-нибудь из близких умирающего был рядом, чтобы чувствовать это волнение, это напряжение...

Ясухара, похоже, вспомнил один из множества смертельных исходов, с которыми ему довелось сталкиваться, и, замолчав, стал смотреть в стену.

Такако Такахаси

Любовь к кукле

高橋たか子

Любовь к кукле

I

Я ждала Тамао. Тамао восемнадцать лет.

В город Т., где я поселилась некоторое время назад, меня привело очень странное чувство. В годы девичества мне случалось несколько раз бывать в этих местах, однако в Т. я впервые попала только теперь.

Когда подъезжаешь на поезде к городу N., за окном вдруг возникает необычайно яркое свечение, которое струится подобно мареву. Нет, пожалуй, вернее было бы сравнить это сияние не с мараем, а с холодным блеском металла. Ослепительно белый свет не падает сверху, а неуловимо и обильно сочится из самой земли.

В прошлом месяце, то есть в январе, я случайно оказалась в электричке, идущей по линии Н. Садиться безо всякой цели в первый попавшийся поезд и ехать куда глаза глядят — мое давнее пристрастие. Когда у движения есть конкретная цель, оно становится ограниченным, если же цели нет, то места, по которым несется поезд, принимают облик туманный и расплывчатый. Мне приятно это ощущение скольжения по течению, когда бездумно смотришь на окутанные дымкой картины, сменяющие друг друга за окном. Но моя бесцельная поездка по линии Н. в прошлом месяце имела особую причину — покончил с собой мой муж. Хотя со дня его гибели миновало уже несколько месяцев, я никак не могла прийти в себя, не понимала, как теперь жить. И вот однажды мне вдруг захотелось сесть в первый попавшийся поезд. То, куда шла эта электричка, я поняла, только подъезжая к городу N., когда за окном начало разливаться белое сияние.

После самоубийства мужа в моей голове, ставшей пустой и прозрачной, все перемешалось. В подобных случаях

люди, чтобы спасти рассудок, предаются безумию рыданий и стенающей скорби. Но у меня так не получается. Смятение разума и чувств ледяными иглами проникает в меня все глубже и глубже, замораживая мою душу. И тогда материя, составляющая окружающий меня вещественный мир, начинает расплзаться подобно облаку пара. И никакая встряска, ничьи усилия не в состоянии пробудить мой разум.

Ощувив странное белое сияние, льющееся в окно вагона, я подняла опущенные глаза. Свет не просто проникал в окно, по мере движения поезда он разливался все шире. И тут мне вспомнилось, что много лет назад, еще до замужества, проезжая здесь на электричке, я уже испытала необычайное воздействие этого залитого мерцающим светом пейзажа. Я не помнила, что было потом, но одно ощущалось с уверенностью: когда-то, глядя на эти места, я испытывала точно такое же чувство.

Я даже вспомнила, как объясняла себе тогда странное свойство окрестностей города N. Здесь начинаются отроги горного хребта R., и узкая полоска равнины, зажатой между морским побережьем и горами, тянется до порта K. Белый ореол возникает где-то возле города N. и не исчезает до самого K., но глаза постепенно привыкают к нему и на подъезде к порту почти перестают его различать, во всяком случае, там свечение уже не производит того магического впечатления, как возле N. Я полагала, что своим происхождением сияние обязано граниту, который в большом количестве добывают в горах R. Наверное, думала я, за долгие века и тысячелетия мельчайшие частички гранита осели на равнине. А может быть, вкрапления гранита входят в состав самой почвы.

Оказавшись теперь на линии N., я вдруг решила сойти с поезда здесь, в N., пока, по мере удаления в сторону порта, не ослабело впечатление от чудесного света. От станции N. железная дорога разветвляется, и одна из ее веток поднимается в горы, до городка T. Поеду в T., вдруг подумалось мне. Если моя версия верна, то, двигаясь в сторону

гор, я буду приближаться к источнику сверкания.

Я стояла на платформе, ожидая пересадки, дул холодный северный ветер. Казалось, что и в нем поблескивают крупицы гранита. Я почувствовала, как всю меня словно пронизывает бескрайнее сияние, и мое душевное состояние до того, как я попала в поезд Н., теперь казалось мне странным.

Наверное, самоубийство мужа незримо и постепенно назревало все десять лет нашего брака. Подобно тому, как в воду капля за каплей, растворяясь, падает черная тушь, смерть с каждым днем все глубже проникала в душу мужа. От этой мысли мне стало жутко. Еще до замужества с собой покончил мой возлюбленный, и в двух этих смертях я усматривала связь. Нет, они никак не зависели одна от другой. Мой возлюбленный так же, как позднее муж, впитывал в себя смерть в течение тех трех лет, что мы с ним встречались. Смерть исподволь накапливалась в том и в другом — точнее сразивший их недуг, пожалуй, не назовешь. С течением времени жизнь не крепла в них, а, начиная с какого-то момента, медленно шла на убыль. С того самого момента, когда они встретили меня. Я стала верить в это после разговора с прорицателем.

— У вас слишком сильная судьба, все дело в этом,— сказал мне старик.— Если вы любите мужчину, вокруг него образуется круг смерти.

Мне никогда не приходило в голову, что у меня может быть «сильная» судьба. Ни физическим, ни душевным здоровьем я никогда не отличалась.

У предсказателя в кабинете на столе горела свеча. Кроме старинных книг в кожаных переплетах, не было никаких обычных атрибутов гадающего ремесла. Мерцание свечи растворялось в окутывавшем кабинет мраке.

— В этом мире существуют круг смерти и круг жизни. Есть люди, которым очень хочется жить, но они не могут вырваться из своего круга смерти. Есть и другие, которые мечтают только о том, чтобы умереть, но им не суждено выйти из поглотившего их круга жизни. Существование и тех

и других подобно аду. Огромное же большинство людей не имеют вовсе никакого круга и живут обычной жизнью.

Так сказал мне старый прорицатель. И еще он сказал:

— Если внимательно приглядеться, видно, что некоторые люди постоянно находятся внутри круга, лежащего у их ног. Они похожи на пленников. Одни рождаются в роковом круге, у других он возникает и развивается подобно раковой опухоли.

Сказав так, предсказатель высоко поднял свечу и взмахом руки пронзил тьму. Там, куда он указал, возникло подобие огромной призрачной сцены, по которой двигались толпы людей. Примерно один человек из каждой тысячи был заключен внутрь круга. Какого именно — жизни или смерти, я различить не умела. Но я очень хорошо запомнила, что есть люди, которые, как они ни стремятся к смерти, обречены жить, и есть люди, которые изо всех сил борются со смертью, но никакие усилия не могут спасти их от неминуемой гибели. Были мне до боли понятны и слова о том, что жизнь и первых, и вторых является адом.

— Почему в людях накапливается смерть? — спросила я, и старый прорицатель ответил:

— Представьте себе двух сцепившихся борцов. Хотя ни вы, ни ваш мужчина этого не чувствовали, между вами шла борьба. Ваши судьбы, собирая все силы, стенают от напряжения, отчаянно боролись друг с другом. Нет, сами вы этого не ощущали, но я вижу, как у ног вашего партнера постепенно зарождался и креп круг смерти...

После разговора с прорицателем я безоговорочно поверила в его теорию смерти. Меня охватил страх: казалось, что стоит мне пристально взглянуть на любую букашку, и она тут же замертво упадет на землю сухой чешуйкой. Помимо моего желания, незаметно для меня самой, сила моей судьбы повернет человека, ставшего мне близким, лицом к смерти. И мне уже казалось, что мир, центром которого являюсь я, будет — по моей вине — денно и ночью заполняться все новыми скелетами и трупами. Я *не*

имею права ни к кому и ни к чему приближаться. Ни с кем не вступать в контакт, замкнуться в себе самой — вот мой удел. Чтобы не гибли близкие мне существа, я должна симулировать смерть, замереть, затаив дыхание.

Чем больше я думала о мотивах самоубийств возлюбленного и мужа, тем яснее мне становилось, что никаких мотивов не было. Обе смерти стали завершением процесса, на протяжении которого жизнь медленно высасывалась из человека кругом смерти. Жизнь словно затянуло в ночной морской водоворот. Никем не замеченный, он поглотил ее — без борьбы, обыденно и безвозвратно.

Я не принадлежу к числу людей, над которыми довлеют темные силы и которые еще при жизни уже как бы принадлежат смерти. Не отношусь я и к типу женщин, чья жизненная сила настолько бьет через край, что захлестывает и подавляет партнера. И тем не менее стоит мне полюбить мужчину, как он оказывается втянутым в круг смерти. Всему причиной моя слишком «сильная» судьба. А чем измеряется сила судьбы? Я не борюсь и не стремлюсь бороться с любимым человеком, но наши отношения все равно становятся схваткой, в которой я побеждаю...

Я стояла на платформе и ждала электрички, которая отвезет меня в город Т. В лицо дул холодный северный ветер, и его дуновение никак не связывалось с моими ощущениями той минуты, когда я смотрела на призрачную сцену, по которой двигались люди, очерченные кругами смерти. Дул сухой, обжигающий, как лед, январский ветер, дул из мест, где нет заводов, и был поэтому прозрачен и светел. Прозрачен он был еще и потому, что сливался с сочащимся из земли белым сиянием.

В этот миг меня пронзило нечто вроде предчувствия.

Электричка, прибывшая из Т. на станцию N., развернулась, чтобы идти обратно. Я села в полупустой вагон, поезд тронулся, и тогда возникшее во мне чувство понемногу стало вырисовываться отчетливей. Допотопный поезд, состоявший всего из двух вагонов и ржаво-красного локо-

мотива, не спеша покатился, постукивая колесами на стыках рельсов, и в окна полился белый мерцающий свет, становясь ярче и ярче. Все происходило именно так, как я ожидала. Ведь если моя догадка справедлива и свечение вызывают залежи гранита, то при приближении к горам оно должно становиться явственней.

Охватившее меня предчувствие можно выразить одним словом: *счастье*. Как неожиданно это было — внезапно ощутить приближение счастья, когда все мои мысли блуждали вокруг одной только смерти. Именно приближение, потому что конкретное, материализованное счастье ждало меня — я это чувствовала — на определенном расстоянии отсюда. В этом краю сама земля источала благословенный минерально-белый свет.

Но дело было не только в сиянии — во мне крепла уверенность, что пейзаж скрывает нечто несравненно более важное. Я не могла уже не чувствовать, как по мере неторопливого движения электрички за окном все шире разворачивалась картина, полная для меня особого значения.

Хотя в юности мне приходилось несколько раз проезжать мимо города N., по этой железнодорожной ветке я ехала впервые. Никогда не бывала я и в городе T., куда теперь вез меня поезд. Бесцельно, наугад села я в электричку, но сейчас в моем движении появилась ясная цель. Стоило мне решить так для себя, как эта цель почти зримо замаячила впереди.

Мне нужно было попасть в T. Я не знала, что я там буду делать, но побуждение ехать туда ощущалось категорично, как отданный кем-то приказ.

За окном проносились деревья, старинного вида дома, храмы, и каждое деревце, каждая черепичка на крыше сияли свежестью и красотой. Мелькающие картины, сменяя друг друга, ослепительно вспыхивали белым светом, перед тем как исчезнуть вдали.

Весь этот край был озарен одним огромным сиянием. Прозрачное, оно висело над землей и, казалось, посылало

мне в вагон знак за знаком. Я чувствовала себя так, как будто вот-вот должна пробудиться от сна. И еще я заметила, что мое предвкушение овеществленной благодати, ждущей меня впереди, дополнилось новым ощущением: это отдаленное счастье каким-то образом связано со мною.

Теперь я могла точно сформулировать свое предчувствие. Во мне возникла уверенность, что где-то там, в городке, в своем доме, в кругу семьи, по-настоящему счастливо сейчас живу я. Осознание этого шло ко мне от всего, что я видела из окна вагона. Иррациональность ощущения делала его еще более сильным. Хотя разве бывает истинным рациональное? Истина, как мне кажется, чаще обрывается меж расплывчатых стен абсурдного.

Итак, я живу в одном из домов этого города, залитого странным белым светом. Там живу не та я, чья жизнь с отправной точки замужества пошла против часовой стрелки, а другая, у которой все сложилось счастливо.

Когда до конечного пункта оставалось несколько остановок, мне вдруг захотелось сойти.

Я шла по улицам. Все здесь казалось мне родным. Хотя до сегодняшнего дня я не помнила, не знала этого, но именно здесь прошли все дни моей жизни. Как знакомо мне прикосновение этих тротуаров к подошвам моих туфель! На мостовой поблескивают мельчайшие белые крупички, как будто их рассыпали и пытались подмести щеткой. Отраженные ими блики освещают меня снизу. Оказывается, когда стоишь на этой земле, ее сияние еще заметнее, чем из окна вагона.

Я пробродила по улицам около часа, когда меня вдруг потянуло к одному из домов, и я остановилась перед ним. Это был коттедж европейского типа, видимо, еще довоенной постройки, слегка накренившийся набок. Может быть, он покосился от времени. Когда-то дом, наверное, окружала живая изгородь, но теперь сохранилась лишь ее небольшая часть, остальные кусты давно засохли, и двор был обнесен серой металлической решеткой, сквозь ко-

тору он просматривался насквозь. Все пространство вокруг дома было засажено розами, среди которых виднелась спина не старой еще женщины, поливавшей цветы из лейки. Замерев посреди улицы, я пригляделась и вдруг почувствовала кожей ладони гладкую медь ручки лейки; струйкой лилась вода, и брызги мочили мои обутые в сандалии ноги. Медная лейка, которой пользуются в нашем доме с незапамятных времен, тяжела. Я выращиваю розы уже восемь лет. В этот предвечерний час я зачерпываю воду из кадки и иду с лейкой в сад; низкое солнце щедро разливает золотые лучи. В нашем краю солнце на закате скрывается не за вершинами гор, а неспешно уходит за равнину, где лежит невидимое отсюда море. Сумерки у нас длятся дольше, чем в горной местности, медово-желтые, они тянутся долго-долго. И каждый вечер я поливаю розы...

— Извините...— сказала я, подойдя к железной ограде.

Женщина, поливавшая розы, обернулась.

Все вокруг меня было в легкой дымке, будто бы я находилась на грани яви и сна. Но эта дымка не мешала мне отчетливо видеть и чувствовать. Наоборот, изнутри меня постепенно заполняла всепроникающая прозрачная ясность. Так бывает, когда уже проснешься, откроешь глаза, но еще очень хочется спать, и, кажется, вот-вот снова провалишься в сонные сумерки. В этом состоянии ничто не имеет четких границ и все вокруг кажется близким и понятным. Не сразу удается вытянуть себя из сонного тумана к окончательному пробуждению.

— Извините, я впервые в этих местах. Не знаете ли вы, где здесь гостиница? — спросила я.

Женщина ответила:

— Ах, гостиница. Вам нужно дойти до отеля «Т». Это там, в городе Т.

«Город Т.»,— повторила я про себя. Безо всякой цели села я в электричку и по дороге вдруг неожиданно решила, что поеду в Т. Эта женщина тоже предлагает мне остановиться в Т. Такое совпадение было мне необычайно приятно, и на

какой-то миг я перестала видеть вокруг себя что-либо, кроме слепящего белого сияния.

— Мама! — раздался юношеский голос, и женщина поспешила прочь.

В отель «Т.» я пришла, чувствуя себя совсем разбитой, как будто меня грубо разбудили во время глубокого сна. Никогда раньше со мной ничего подобного не случалось.

Предчувствие, возникшее, когда поезд приближался к городу N., не оставляло меня. Наоборот, оно становилось все сильнее и явственнее.

В отеле «Т.» меня спросили, где я желаю остановиться — в новом корпусе или в старом. Не задумываясь, я ответила: «В старом». Однако портье настойчиво рекомендовал новое здание. Я стояла на своем. Он объяснил, что хотя иногда в старом корпусе и бывают свободные номера, но, как правило, он целиком предназначен для постоянных гостей. Я мысленно подивилась, что это за «постоянные гости», и все-таки взяла пустующий номер в старом здании отеля. Комната для двоих стоила всего 3000 иен в сутки. В новом корпусе номера стоили дороже.

Я переночевала в отеле, и мне так там понравилось, что, помня о «постоянных гостях», я заказала комнату на несколько недель и, снова сев на электричку, поехала домой, чтобы привезти кое-какие вещи. За окном вагона вновь разливался чудесный свет. Однако, вернувшись домой, я сильно задержалась и смогла снова выехать в Т. только через месяц, восьмого февраля. Все это время над моей головой, подобно нимбу, мерцало белое сияние.

В первую ночь, после того как я поселилась в отеле «Т.», мне приснился необыкновенный сон.

У меня в номере стоит восковая фигура красивого юноши в натуральную величину. Ему на вид лет семнадцать-восемнадцать, во всяком случае не больше двадцати. Я дала кукле имя Тамао. Мы давно живем в этой комнате вдвоем и еще долго будем вместе. Тело у Тамао белое-белое, только

щеки окрашены розовым. Когда я касаюсь их, моя рука, как это ни странно, ощущает биение пульса. Мне приходит в голову мысль, что внутри восковой куклы каким-то неведомым образом теплится жизнь, и я начинаю об этом думать. С куклы вдруг соскальзывает одежда, и она предстает передо мной обнаженной. Я начинаю гладить Тамао по плечам. Потом моя рука сама собой скользит ниже, и я пытаюсь нащупать на груди куклы сосок. Ведь у мужчины они тоже есть, говорю я себе, и моим пальцам доставляет наслаждение найти сосок, хотя в нем нет ничего присущего исключительно мужскому началу. На гладкой холодной коже выделяется маленькая и колкая, как острие иглы, точка. Какой милый, говорю я и глажу его, и он набухает под моими пальцами. Пространство, окружающее меня во сне, полно неясного и беспредельного очарования, а в самом его центре, невидимом для меня, громко стучит чье-то сердце.

Это был совсем простой сон. Но, несмотря на свою незатейливость, он длился всю ночь. Настроение, возникшее во время сновидения, не оставляло меня в течение всего дня. А около полудня на своем шестом этаже у лифта я встретила юношу, который удивительно походил на приснившуюся мне куклу. Сходство было хоть и неполным, но все же разительным. Передо мной стоял хрупкий юноша в бледно-голубом джинсовом костюме.

— Ах, это вы, Тамао-сан! — вырвалось у меня помимо собственной воли.

И юноша не стал возражать против чужого имени. С тех пор я, не спрашивая, нравится ему это или нет, называла его Тамао. Наверное, ему ничего и не оставалось, как только молча смириться с моим чудачеством. В результате того, что я звала юношу именем Тамао, между нами неизбежно возникла незримая связь, во всяком случае в моем восприятии.

Человеческое существо само по себе безлико. Но стоит дать ему имя, и человек обретает черты неповторимой индивидуальности. Имя — это форма, в которую облекается

содержание. Когда так считаешь, наречение именем представляется актом почти магическим. Стоило мне назвать юношу Тамао, как он сразу приобрел черты восковой куклы с тем же именем, виденной мною во сне. Не зная того, он стал существом, которое обретало жизнь благодаря моим ночным видениям.

Постепенно я поняла, что представляли собой «постоянные гости» отеля «Т.». Например, Тамао, родители которого несколькими днями раньше уехали в длительнуюграничную командировку, поселился здесь на месяц, чтобы готовиться к вступительным экзаменам в университет, проводимым в начале марта. Остальные постояльцы были либо преподавателями колледжа, либо стажерами различных фирм, снимающими комнату на одну-две недели. Старый корпус отеля не пользовался популярностью у обычных клиентов, поэтому цены на номера здесь были невысокими. Я же чувствовала в старом здании очарование минувшего, окутанное вуалью времени, вдыхала отдающий застоявшейся плесенью запах, и сквозь этот белесый аромат краски стен, потолка, ковров и утвари казались размытыми и приглушенными. Такой это был отель, как будто специально созданный для меня. Ультрасовременный новый корпус, «призванный удовлетворять любым потребностям постояльцев», мне не подходил. Старую гостиницу строили, исходя из требований изысканного вкуса, но те люди давно умерли, и осталось одно лишь их восприятие красоты, обитающее призраком былого в стенах этого дома. Трудно было бы представить место более подходящее для моего досуга.

Когда я проснулась утром, впервые увидев во сне куклу, и еще полудремала в кровати, то вдруг почувствовала холодную струю воздуха, проникавшего в жарко натопленную комнату. Я взглянула на окно и увидела, что край занавески слегка колыхается. Видимо, с тех пор как старый корпус перестал пользоваться популярностью, занавески на окна здесь вешали только от случая к случаю. Те, что висели

в моей комнате, были совсем старыми и скорее подходили для какой-нибудь подсобки. Но в моих глазах они придавали помещению вид жилища некогда богатой, но теперь пришедшей в упадок семьи. Разрушение и увядание вообще кажутся мне красивыми.

Мне показалось странным шевеление занавески, я встала и отодвинула ее. В высоком, разделенном на квадраты оконном стекле отсутствовала одна секция. Внимательно приглядевшись, я заметила, что застекленные квадраты и пустой одинаково прозрачны. Наверное, прошли дни, а может, и недели с тех пор, как вылетело стекло, и никто не заметил. От этой детали гостиница стала мне еще ближе. Как красиво — элегантное окно, разбитое и всеми забытое.

Первое, о чем я заговорила с Тамао, встретившись с ним у дверей лифта, было это окно. Ко мне в номер все никак не приходил стекольщик. Красота красотой, но в комнате невыносимо дуло, и я собиралась спуститься вниз, чтобы еще раз попросить прислать мастера.

— Правда, отопление работает хорошо, так что терпеть можно,— сказала я, подумав, что встроенные батареи отопления нарушают прелесть старинного здания.

— Да, здесь тепло,— ответил Тамао.— От этого мои розы хорошо растут.

Кожа у него была такая белая, что мне подумалось, не ощутят ли мои пальцы холод воска, если я дотронусь до нее рукой. В Тамао не чувствовалось свежего, живого дыхания жизни, лишь щеки были окрашены розовым.

— Какие розы? — спросила я рассеянно.

— Я перенес в номер все свои розы из теплицы,— ответил Тамао.

Голос у него был не по-мужски высокий, ровный, без придыхания.

— Вы выращиваете розы? — почему-то удивилась я. Тамао не ответил.

До самого первого этажа, кроме нас, в лифт никто не садился. Все это время я молча наблюдала за Тамао.

Перестав говорить, он как бы спрятал внутрь себя все проявления жизни и стоял неподвижно, с бесстрастным выражением лица. Старый лифт медленно скользил вниз. Он был не похож на своих современных собратьев, в которых ощущение движения пропадает: один миг — и ты уже внизу. В старом же лифте, похожем на скрипучий ящик, спуск воспринимался как движение твоего собственного тела куда-то вниз, в неведомое.

Глядя на Тамао, я интуитивно поняла, что его бесстрастность не напускная, это форма его существования. Он как будто и не разговаривал только что со мной. Как манекен, он вышел из лифта и пошел прочь. На прощание он обернулся, и на его лице промелькнула улыбка, но она была как бы заключена в плен плоти и не могла вырваться наружу — только мышцы лица слегка шевельнулись.

В ту ночь кукла вновь возникла передо мной в темноте комнаты. Тело у нее было из воска, но волосы мягкие, как у живого человека. Глядя куклу по волосам, я коснулась уха. Оно было круглым, маленьким и все уместилось у меня в ладони. Мне захотелось прикоснуться к невидимым в темноте частям тела куклы, ощутить их форму. Пальцы скользили от уха к широкому лбу, от лба к тонкому носу. И вслед за осторожным их прикосновением холодное лицо куклы оживало, как сосок прошлой ночью. Я вся была сейчас в этом ласкающем прикосновении. Лицо куклы, воспринимаемое мной не зрительно, а одним лишь осязанием, жило своей жизнью. И все это время моя мысль работала. Меня занимало то же, что и прошлой ночью, — тайна жизни, таящаяся внутри куклы. Один миг — и ответ был у меня в руках...

Тут я проснулась.

В тот день после обеда, когда я сидела с Тамао в гостиной на втором этаже и пила чай, мне пришла в голову странная идея. Со вчерашнего утра, когда я назвала этого юношу именем восковой куклы, в нем начался тайный процесс — мой сон стал капля за каплей проникать в жизнь Тамао, растворяясь в ней. Моя связь с куклой из сновидений

репродуцировалась на отношения с Тамао. Трудно было бы выразить словами охватившее меня в тот миг чувство. Я сидела в гостиной, в глубоком, старинного вида кресле и испытывала странное воздействие воспроизведения сна в реальности. А что такое воспроизведение? Есть некая исходная форма жизни, являющаяся реальной основой моих снов, она спрятана далеко, по ту сторону сознания, и где-то там я живу в ней. Воспроизведение — это отражение некогда уже прожитого мною в зеркале реального бытия.

— На какой же факультет вы собираетесь поступать? — спросила я у Тамао, сидевшего по ту сторону круглого мраморного столика.

— На естественный. Я хочу изучать математику.

В отличие от меня, полулежащей в глубоком кресле, Тамао сидел, выпрямив спину.

— Ах, математику! — рассеянно повторила я, думая совершенно о другом. Отражение *уже прожитого* в зеркале реальной жизни можно увидеть не везде и не всегда. Редко удастся столкнуться с реальностью, которая годится для того, чтобы стать зеркалом минувшего.

— Да, мне нравится математика, — сказал Тамао.

Я вспомнила, что и меня в юности увлекала математика. Ту *меня*, о которой я впервые подумала, проезжая на электричке мимо города N. Ту, чья жизнь шла не против часовой стрелки, как моя, а складывалась счастливо.

— Вы сидите за письменным столом с самого утра и до вечера?

Мои слова, обращенные к нему, наполняли виденное мною во сне реальным содержанием, и Тамао, не ведающий того и потому беззащитный, пассивно воспринимал действие моих чар.

— Времени до экзаменов осталось совсем мало.

Тамао, загибая белые тонкие пальцы, посчитал: одна, две, три, четыре недели.

— Но ведь нельзя же все время заниматься. У вас не такой уж здоровый вид.

С каждым словом *это* усиливалось, мне стало трудно дышать. Но ни увидеть, ни коснуться *этого* было невозможно, и Тамао ничего не чувствовал.

— Да, я без конца простужаюсь.

— Простужаетесь?

— Да еще чуть что, сразу начинает живот болеть, прямо не знаю, что и делать.

— Правда?!

— Да, а что? Почему вы так спрашиваете? — удивился Тамао.

Наверное, я себя выдала. Я с особой силой ощущаю красоту всего слабого и болезненного. Примерно такое же чувство у меня вызывал и отель «Т.». Расцвет жизненных сил никогда не казался мне привлекательным.

— Хорошо здесь — ковры, кресла.

Я обвела рукой широкую безлюдную гостиную — кресла, обитые потемневшим алым бархатом, ковры им в тон. Ни в креслах, ни в столах, ни в шкафах, ни в подсвечниках не было ничего утилитарного, обусловленного необходимостью. Вещи, прямо предназначенные для использования, никогда не кажутся мне красивыми.

— Я всегда пью здесь чай после обеда. Других развлечений у меня и нет, — сказал Тамао.

Когда я спустилась сюда, он пил чай в одиночестве. Я села за его столик.

— Вы так молоды, а вам нравятся те же вещи, что и мне. А о чем вы думаете, когда пьете чай?

Задав этот вопрос, я вдруг решила, что Тамао в минуты отдыха, должно быть, предается воспоминаниям. Причем как это ни странно, но мне подумалось, что он перебирает в памяти *мои* сны. Человек ведь может вспоминать не только то, что происходило с ним на самом деле.

— О чем думаю? — переспросил Тамао, и его лицо осветила мимолетная улыбка.

О, в этот миг между нами пробежала невидимая искра. Нет, Тамао, как и прежде, ее не почувствовал. Сознание

его было глухо, но сам он все глубже затягивался в исходящий от меня дурман моих сновидений.

— Знаете ли вы такого художника — Альберто Мартини? У него есть картина, которая называется «Любовь».

Так я прямо, без обиняков приступила к главному.

А картина эта вот такая. Во все полотно изображен огромный цветок, похожий на мак. Чашечка его, увенчивающая длинный стебель, раскрыта, и внутри ее видны два других цветка. Похожие на лица девушки и юноши, они обращены друг к другу, и их нижние лепестки, подобно устам, слиты в поцелуе. Поцелуй двух влюбленных как бы покоится в чаше большого цветка. Можно видеть эту картину и иначе: мужчина и женщина целуются, но они заключены в цветок, нет, поглощены им. На полотне не два отдельных образа — влюбленных и цветка, — нет и символической связи поцелуя с цветением. Цветок проник в плоть влюбленных, влюбленные слились с естеством цветка, и соединение людей обрело растительную природу, а цветок очеловечился. Такая любовь, такое любовное слияние изображены на картине.

II

Я ждала Тамао. Тамао восемнадцать лет.

Во сне я пыталась разгадать тайну жизни, спрятанной в восковой кукле. Во сне ко мне пришел и ответ: загадка жизни — в чувственной любви. В ней раскрывается тайна бытия.

Каждую ночь я встречалась с восковой куклой по имени Тамао, а затем, после обеда, наслаждалась беседой с реальным Тамао, сидя в гостиной старого отеля, в которую почти не заглядывали остальные постояльцы. Так проходили дни. Благодаря единству имен, тому, что я самовольно окрестила живого юношу именем восковой куклы, возникло цельное, неразложимое на составные части существо, загадочное и соблазнительное.

Подготовка Тамао к вступительным экзаменам находи-

лась в последней стадии. Не мешают ли занятиям воспоминания о наших ночах? — думала я. О *наших* ночах? Да, о наших ночах! Что бы ни привиделось мне во сне, потом это всплывает в памяти Тамао. Человек может вспоминать и никогда в его жизни не происходившее, если кто-то, находящийся с ним в тесном духовном сродстве, ткёт вокруг него паутину своих необыкновенных снов. И эти сны неведомым, случайным — иначе не скажешь — путем проникают в воспоминания. Наверное, поэтому и без того бесстрастное лицо Тамао приобретало все более отсутствующее выражение, которое свойственно людям, одолеваемым неясными воспоминаниями. С каждым днем неживая, восковая красота его лица становилась все ослепительнее. В то же время кукла по имени Тамао под моими страстными ласками, стремящимися разбудить ее, с каждой ночью проявляла все больше признаков жизни.

Засыпая, я ждала Тамао, и по мере того, как чувство ожидания усиливалось, пространство начинало густеть в центре и появлялась кукла. В последнее время я уже почти могла создавать сновидения усилием воли. Мои дикие фантазии научились проникать в ночные сны.

С тех пор как мне пришло в голову оживлять куклу прикосновением руки, я с наслаждением повторяла эту процедуру каждую ночь. Тамао приходил ко мне во сне, но, наверное, из-за ночной темноты мое зрение не участвовало в сновидениях, встречи с Тамао были чисто осязательными. Странно при этом то, что я очень хорошо знала, как он выглядит.

Ночи помогли мне понять, каким важным становится осязание, когда зрение бессильно. Прикосновение дает познанию не меньше, чем взгляд.

Моя рука скользит по худой груди и находит миниатюрный острый сосок. Я не в первый раз проделываю это, но найти его нелегко — такой он маленький. Когда я зажимаю его между средним и указательным пальцами, он набухает. На белоснежной коже набухший сосок выделяется розовым

пятном. Нет, я этого не вижу, но прикосновение рождает у меня зрительный образ. Моя ладонь делает все большие круги по узкой груди и ощупывает справа и слева хрупкие ребра. Мне кажется, что они болезненно дрожат под моими пальцами. Рука поднимается выше, находит острую ключицу, потом гладит нежную округлость плеча. На воске кожи нет ни волосков, ни пор, ни шероховатостей. Я резко веду рукой вниз и вместе с наслаждением быстрого спуска ощущаю изгиб талии. Тело куклы в этом месте совсем тонкое, кажется, готовое переломиться. Когда моя ладонь доходит сюда, жизнь в Тамао уже проснулась, он весь стал теплым, и я словно держу в руке горящую восковую свечу.

На следующий день, когда я в три часа зашла в гостиную старого здания отеля, Тамао уже сидел там в одиночестве. Я подошла к столу, и его бледно-восковое лицо повернулось в мою сторону. Когда он смотрит на меня снизу вверх, выражение его лица почему-то кажется подозрительным и исполненным решимости.

— О чем вы сейчас думали? — спросила я, подсаживаясь к столу.

Который уже день это продолжается — ночи в одиночестве и вечера вдвоем.

— Я вспоминал, — вежливо ответил мне Тамао.

— Вспоминали? А что? — спросила я.

Только посредством воспоминаний Тамао ночные сны были связаны с дневной явью.

— Есть такое музыкальное произведение, которое называется «Любовь». Знаете? Его написал композитор Тоору Такэмицу, — ответил Тамао, слегка улыбнувшись.

Вся музыка состоит из женского и мужского голосов, повторяющих одно слово «аи»*. Женщина спрашивает — мужчина отвечает, мужчина спрашивает — отвечает женщина. Голоса то сливаются, то звучат монологами; меняют тембр, громкость, тональность, постепенно поднимаются до крика — так построено это музыкальное произведение.

* Аи — любовь (японск.).

Когда Тамао описывал его, меня охватила дрожь. Я подумала, что не смогла бы воспринимать такую музыку просто как произведение искусства.

— И эту мелодию вы вспоминали? — спросила я тоже очень вежливо. Ведь дневной Тамао — совсем не тот, что ночной. Но каждый из них зависим от своего двойника, и теперь отличить их друг от друга уже почти невозможно. Все же я пока могла их различать, и это был последний рубеж, еще удерживаемый моим рассудком.

Я погрузилась в раздумья, мысленно сравнивая нашу любовь с той, что была изображена на картине и в музыке, названных тем же словом. Наша любовь была не похожа ни на ту, что написал художник, ни на ту, что звучала в музыке. Ее ни с чем нельзя было сравнить. Когда происходит нечто действительно уникальное, ему свойственно обретать особую центростремительную силу, делающую это явление похожим только на себя самое. И все же я продолжала думать о том, как выразить происходящее между нами с помощью метафоры. В конце концов я поняла: в чувственности ночного Тамао есть что-то от растения. Мне страстно захотелось найти растение, напоминающее Тамао, нет, способное заменить мне его. Я должна была отыскать вторую составляющую равенства «Тамао = растение».

Над разделяющим нас с Тамао мраморным столиком витал аромат лимона, положенного в чай. Желтый цвет плода был ярок, и запах тоже казался мне желтым. Кроме нас, в гостиной тихо сидела за кофе только одна пожилая пара.

— Тут где-нибудь поблизости есть ботанический сад? — спросила я Тамао.

— Да, есть. Надо доехать по железной дороге до станции R. и там подняться на фуникулере.

— А там много растений? — спросила я, думая, есть ли в саду растение, равное Тамао.

— Сейчас зима. Даже не знаю, — ответил он.

Пожилая пара поднялась и совсем по-европейски, под

руку, вышла из гостиной. Заметив темную сеть морщин на щеках женщины, я вдруг вспомнила о своем возрасте. Я ведь старше Тамао на целых двадцать лет.

— Наверное, все-таки много,— сказала я со значением.

— Раньше там выращивали около тысячи видов, а теперь, может быть, и еще больше,— ответил мне Тамао с неожиданной обстоятельностью.

— Раньше?

— Когда я ездил туда смотреть на розы. Именно с тех пор я начал сам их выращивать.

— Так вы выращиваете розы?!

— Что с вами?

— Нет, ничего. Вы разговариваете совсем как взрослый.

— У вас вдруг так изменилось выражение лица.

— Когда вы сказали про розы, на меня вдруг дохнуло чем-то очень знакомым. Странно, отчего?

Почему от слова «розы» на меня повеяло чем-то родным? Я стала мучительно выискивать причину и наконец вспомнила: давным-давно я мечтала, что, если у меня когда-нибудь будет свой дом, я весь двор засажу розами. Как неожиданно иногда вспоминаются вещи, давно забытые! В моей памяти даже вдруг всплыли названия сортов роз: «конфиданс», «уайт-кримс», «иден-роуз».

— Значит, надо доехать до станции R. и там сесть на фуникулер? — переспросила я у Тамао.

На днях обязательно туда съезжу, подумала я. Выберу только ясный и прозрачный зимний день.

И в эту ночь я тоже ждала Тамао.

Пока я не пробужу его к жизни своей рукой, Тамао остается холодным. Начав с ушей, носа, рта, я глажу и массирую участки тела куклы, передавая ей тепло своей ладони. Я повторяю эти движения раз за разом. И тогда жизнь, глубоко спрятанная внутри Тамао, медленно начинает пробуждаться. Мне понятно, почему я влюбилась именно в восковую куклу. Все дело в том, что она холодная. А я могу посредством своих ласк, в которые вкладываю всю душу,

вызывать откуда-то из неведомых глубин тепло жизни, затаенной в кукле. Все зависит только от меня. И Тамао из восковой куклы переходит в иное качество. Но этот переход не окончателен — Тамао сохраняет оболочку куклы, и ее восковая кожа по-прежнему полна очарования. Это очарование заключается в ощущении особой, растительной чувственности. Однако стоит мне приостановить свои ласки, и Тамао постепенно вновь превращается в холодную куклу.

И в эту ночь, подчиняясь моим уже привычным движениям руки, Тамао пробуждается, его тело нагревается, подобно зажженной восковой свече. Потом мои ласки прекращаются. На этом все кончается, как и всегда.

Напоследок мне приходит в голову новая идея — покрасить губы куклы помадой. Образ, созданный одними лишь прикосновениями, приобретает зримые очертания. Помада вспоминается мне по ассоциации с эпизодом из одного романа, который называется «Харуко»*. Только там повествование ведется от лица пассивного партнера, а я же выступаю как сторона активная.

Поскольку я согрела холодного Тамао, моя правая рука с помадой, поднесенная к его лицу, ощущает теплое дыхание, исходящее от рта. Темно и ничего не видно, но я уверенно накладываю густой слой помады на хорошо знакомый мне контур губ. Губы Тамао более мягкие и нежные, чем мои. Верхняя посередине приподнята, и я решительно обвожу изгиб помадой. В ответ на это изо рта Тамао вырывается прерывистый вздох. Его губы приоткрыты, и зубы, наверное, тоже раздвинуты. Где-то там, за зубами, лежит темная тропа, ведущая к источнику жизни Тамао. Дыхание вырывается оттуда.

Покончив с губами, я ставлю Тамао на пол. Поскольку он из воска, его достаточно просто легонько приподнять. Я слегка расставляю ему ноги, развожу в стороны руки, поднимаю голову кверху. Потом отхожу на несколько шагов назад и смотрю на дело своих рук. Конечно, в темноте ничего

* Харуко — женское имя.

не видно, но я представляю себе красоту обнаженного белого воскового тела с окрашенными в красный цвет губами и наполненным жизнью символом мужественности.

После этого сна я проснулась утром с ощущением необычайной удовлетворенности.

Впервые после долгого перерыва мне захотелось прогуляться по улице. Я вышла из комнаты, прошла по коридору, устланному потемневшим красным ковром, и остановилась у лифта. Там стоял Тамао. Он резко обернулся, и я чуть не вскрикнула, потому что выражение его лица было необычным, совсем не таким, как всегда. Тамао вдруг отвернулся и бросился вниз по лестнице. Тут я действительно вскрикнула, схватилась за перила и посмотрела ему вслед. Все тот же темно-красный ковер, которым была покрыта и лестница, поглощал стук каблуков Тамао, и только видно было, как он сбегает на пятый этаж, на четвертый, потом на третий.

— А-а! — громко простонала я, вдруг вспомнив, что в уголках губ Тамао были пятна того же цвета, что моя помада. Или это мне только показалось?

Может быть, мой разум уже сдал свой последний рубеж? Я наяву проваливалась в сон, не имеющий границ.

Я решила догнать Тамао, чтобы проверить, не обманули ли меня глаза, и бросилась за ним следом. Из-за того, что ковры поглощали звук шагов, я не знала, на какой этаж спустился Тамао, и, сбежав до первого, заглянула в ту гостиную, где мы с ним обычно сидели, хотя сейчас было еще утро. Его там не оказалось, сидела только вчерашняя пожилая пара и пила кофе. Почувствовав внезапно страшную усталость, я села за соседний столик и тоже заказала кофе. Я уже пила его за завтраком и выпить две чашки подряд позволяла себе крайне редко. В гостиной висели огромные часы с маятником, видимо попавшие сюда еще в незапамятные времена. Цифры на циферблате были по-старинному вытянутыми. Часы показывали 10 часов 38 минут. Официант принес мой кофе, и я выпила его залпом. Я надеялась, что это поможет мне прийти в себя, но реальный мир

по-прежнему был как в тумане. Кажется, я уже давно утратила способность проводить четкую границу между сном и явью.

Пожилая дама с соседнего столика, улыбаясь, слегка поклонилась мне.

— Вы тоже приехали послушать? — спросила она.

Я непонимающе уставилась на нее.

— Мы здесь специально для этого. Тридцать лет не были в этом городе.

Женщина обернулась к мужу.

— Я тогда был против. Мне не нравилось, что моя жена развлекается без меня, в одиночку. Но теперь, с возрастом, я вижу, какое это хорошее дело. Сейчас я понимаю.

Пожилой мужчина посмотрел на меня и тоже улыбнулся, как бы присоединяясь к улыбке жены.

Я слушала и ничего не понимала.

Когда фиалки расцвели,
тебя я встретил в первый раз,—

тихонько пропела женщина.

— Да, чтобы почувствовать это, нужно достичь определенного возраста. Жена тогда не понимала,— доверительно поведал мне мужчина.

— Ты опять за свое. Это просто были пустые мечты молодой девушки,— сказала ему дама.

— Э, нет. Красоту молоденьких девушек может оценить только пожилой мужчина,— твердо заявил муж.

Я поднялась из-за стола. Сумочка была у меня при себе, и я вышла из отеля на улицу. Взяв такси, я велела водителю отвезти меня к фуникулеру на станции R. Мне вдруг захотелось попасть в тот ботанический сад. Такси помчалось вдоль реки, и напротив гостиницы, на другом берегу, я увидела здание хоровой капеллы девочек. Мне вспомнились слова мужчины, и по аналогии с ними у меня в голове возникла фраза: «Красоту молоденького юноши может оценить только пожилая женщина».

Когда такси подъехало к фуникулеру, ясное с утра небо заволокло тучами и задул холодный ветер. Поскольку сначала я собиралась только немного пройтись по улице около отеля, то была в одном платье. Я стояла, съжившись от холода, и не знала, что делать. Белое сияние, не покидавшее меня с тех самых пор, как в прошлом месяце я подъехала на электричке к городу N., вдруг куда-то исчезло, низко надвинулось темное небо. Я стояла на одной из вершин горного хребта R. Вдалеке, над крышами домов, виднелось море, такое же темное, как и небо. Было не до поисков растения, равного Тамао, и, решив вернуться в отель, я остановила такси. Я вся продрогла, мне стало так плохо, что я сидела в машине скрючившись. Почувствовав, что мне лучше ехать прямо в больницу, я велела водителю остановиться у первой же клиники, попавшейся нам по дороге. Но там не оказалось свободных мест, поэтому я просто прилегла на черный кожаный диван, стоявший в вестибюле. Я была как заблудившийся и замерзающий в горах путник. Холод проникал куда-то в самую глубину моего тела, и я провалилась в сон.

Проснувшись, я увидела, что лежу все на том же кожаном диване. Мимо ходили посетители, и мое внимание привлекло странное поведение одного старика. Согнувшись в три погибели, чуть не ползая по полу, он медленно передвигался, высматривая что-то через лупу, зажатую в правой руке. Казалось, он рассматривает ноги посетителей через увеличительное стекло. Я внезапно вспомнила уже успевшую позабыться теорию о кругах жизни и смерти. Мне даже почудилось, что старик похож на того прорицателя. Есть люди, которые очень хотят жить, но обречены на медленное умирание, и есть люди, которые мечтают только о смерти, но им суждено жить долго. Существование и тех и других подобно аду. А я знала, что принадлежу к последним. Совсем недавно мне казалось, что я умираю от холода, но вот я проснулась и живу себе дальше как ни в чем не бывало. Где-то внутри меня, вне зависимости от моей воли, крепко-

накрепко укоренилась жизнь, и сила ее такова, что стоит мне полюбить мужчину, как я начинаю выталкивать его в круг смерти. Так говорил предсказатель.

Старик, осматривавший пол через лупу, время от времени вытягивал левую руку и как бы гладил доски.

— Что это вы делаете, дедушка? — спросила я, по-прежнему лежа на диване.

— Ох, у меня такая неприятность! Выпала контактная линза. И как ее найти, ума не приложу, — ответил старик.

Я вздохнула с облегчением и даже немного повеселела. Решив, что пора возвращаться в отель, где меня ждет Тамао, я поднялась с дивана.

Чем ближе была гостиница, тем сильнее становилось чувство, владевшее мною с утра. Мне во что бы то ни стало нужно было отыскать Тамао. В три часа в гостиной он не появился. Я постучала в дверь его комнаты, но ответа не было. Мне ни разу не приходилось навещать Тамао в номере.

Я долго ходила по застланным темно-красным ковром коридорам старой гостиницы, пытаюсь найти Тамао. Выбившись из сил, я вернулась в номер и стала ждать, когда в коридоре раздадутся звуки шагов Тамао, который должен был пройти мимо моей двери, возвращаясь к себе.

Батареи грели слишком сильно, в комнате от жары становилось трудно дышать. Над батареей был встроен специальный алюминиевый ящик с водой, чтобы увлажнять слишком сухой, горячий воздух. За окном дул сильный, порывистый ветер, и каждый раз под его натиском жалобно стонали сосны. В окно была видна неширокая холодная речка, на другом берегу которой высилось здание хоровой капеллы. Я решила еще раз сходить к номеру Тамао. Может быть, я не услышала его шагов, потому что их заглушили ковры. Я постучалась, но ответа по-прежнему не было. Широкая замочная скважина старинного образца давала возможность рассмотреть комнату. В конусообразное отверстие были видны цветущие розы. Их цвет, даже скорее

просто ощущение того, что это розы, подействовало на меня очень сильно, и моя память снова заработала. Когда, давным-давно, я мечтала разводить розы во дворе своего дома, мне хотелось выращивать «офелию» и «ину-харкнесс». Мне вспомнились даже названия сортов. Почему они возникли в моем мозгу с такой легкостью?

Перед тем как уснуть, я размышляла над равенством «Тамао = растение».

Чувственность считается привилегией животных организмов, и в качестве таковой в моем представлении она не имеет ничего общего с красотой. Чувственность, живущую в моем Тамао, следовало бы назвать растительной. С того момента, как в нем оживают чувства, Тамао делается похожим на какое-то растение. На какое же? Он — мужчина, значит, это не цветок. В моем воображении возникают голубоватые прозрачные стебли или листья, по которым бежит зеленый сок. Чувственны не цветки, а именно листья и стебли.

Перед моим мысленным взором вдруг предстал ликорис. И я уснула.

Снова мои руки ласкают, воск нагревается, тело Тамао пробуждается. Но он не делает ни одного движения. Тамао — сама пассивность, он только принимает мои ласки. Мне показалось, что я нашла растение — Тамао. Ликорис, неожиданно прорастающий из земли в начале осени, — разве не исполнены чувственности его гладкие зеленые побеги? На тонком стебле, тянущемся кверху, еще нет ни одного листочка. Зелень ликориса кажется прозрачной, она тяжела, как будто наполнена маслом. До того времени, пока на ликорисе не появятся цветы, он очень похож на Тамао. Зеленые острые бутоны тоже прозрачны и маслянисты. Зелень бутонов кажется чувственной оттого, что очень легко представить, как внутри них алеет ядовитая мякоть. Вот бутоны начинают раскрываться, и в щели виднеется краснота цветка. Как я хотела бы написать такую картину! Если бы умела. Я изобразила бы прекрасного обнажен-

ного Тамао, у которого из бедер растет юный, состоящий из одного стебля и бутонов ликорис.

— Тамао! — кричу я. Звук впервые проникает в мой сон. Ответа нет, но я внезапно понимаю, что рядом со мной не ночной, а дневной Тамао.

Я окончательно убедилась в этом, проснувшись. Я лежала под лучами утреннего солнца и чувствовала, что кровать еще хранит тепло его тела, а на подушке остался отпечаток его головы. На наволочке я увидела несколько волосков и взяла один из них. Подойдя к окну, я рассмотрела его на свету. Он был каштановый и очень тонкий. Я вырвала у себя волос и долго стояла и сравнивала оба волоска, держа их на свету. Они были похожи, почти неразличимы.

Позавтракав у себя в номере, я собралась и вышла на улицу. Стояла самая подходящая погода для того, чтобы отправиться на фуникулере в ботанический сад. Мне надо было найти растение, еще более олицетворяющее собой Тамао, чем ликорис. Когда я найду его, наша с Тамао любовь примет совершенную форму.

Я наудачу постучалась в дверь номера Тамао.

Он вышел в коридор, и я сказала ему:

— Еду в ботанический сад.

— Вы можете зря потратить время. Сейчас зима, я ведь вам говорил,— ответил Тамао. Лицо его по бесстрастности выражения не уступало восковой кукле.

— Ничего,— сказала я с нажимом.— Это ведь воображаемое растение.

Тамао не спросил, что за растение я имею в виду.

— Я сегодня наконец заканчиваю.— Он слегка приподнял какой-то предмет, который держал в левой руке.

— Что заканчиваете?

— Осталось тридцать слов. Я запоминаю наизусть восемь тысяч слов. Каждый день по тридцать.

Он держал толстый англо-японский словарь.

— Ах, ну да, ведь до начала экзаменов в университет осталась всего неделя.

Стремясь побороть охватившее меня головокружение, я мысленно пожелала, чтобы наша любовь длилась еще много-много ночей и после этого дня. И пошла к лифту. Обернувшись, я увидела, что Тамао замер у своей двери — точь-в-точь восковая кукла — и смотрит мне вслед.

В лифте я встретила все ту же пожилую пару.

— Вы сегодня одна? — спросила меня дама, а ее супруг вместо приветствия изобразил на лице улыбку.

— Я всегда одна, — ответила я.

С этими словами я вышла из лифта. Каждый мой шаг окутывало чудесное белое сияние, исходящее от начиненных гранитом склонов горного хребта. То, что свет не лился с неба, а поднимался снизу, несомненно означало, что счастье ждет меня здесь, на земле.

Перед фуникулером я некоторое время стояла и смотрела вокруг; благодаря сегодняшней ясной погоде весь край был озарен особенно ярким переливчатым светом. Нынешний день казался полной противоположностью вчерашнему.

Пассажиров на фуникулере оказалось мало. Кабина легко поплыла вверх. Из окна было видно, что освещенная сиянием местность вытянута длинной лентой. Она резко контрастировала с остальным темным ландшафтом. Ежесекундными вспышками над ней переливалось мерцающее сияние.

— Где здесь ботанический сад? — спросила я, сойдя с фуникулера. Мне объяснили, что нужно немного пройти по горной тропе и сесть еще на один фуникулер, который и поднимет меня к ботаническому саду.

Я снова села в кабину и невесомо вознеслась еще выше. Здесь пассажиров было совсем мало, вокруг простиралось только бескрайнее небо. Утренний воздух дышал свежестью.

— Где здесь ботанический сад? — снова спросила я наверху.

Мне объяснили, что здесь находится парк, а мне, чтобы попасть в ботанический сад, нужно сесть на автобус. Зимой автобусы ходили один раз в час. Я села на скамейку и стала ждать. Ясное небо, казалось, отражалось в земле, и сияние,

ширясь, поднималось от подножия горы к вершине. Но отсюда уже нельзя было различить ни города Т., ни города Н., ни порта. Было только горное плато и над ним синее небо.

Автобус шел минут десять. Часть склона горы была оголена, там и раскинулся просторный ботанический сад. С автобуса никто больше не сошел, и я направилась в сад одна. Как и предупреждал меня Тамао, цветы давно увяли, лиственные деревья стояли голые, хвоя вечнозеленых растений потемнела, в саду царило запустение. Но на синем фоне безоблачного неба сухие ветки и стебли, напоминающие торчащие кости, смотрелись необычайно красиво.

Изредка я встречала других посетителей, но сад был обширным, и они почти не попадали в поле моего зрения.

Я шла, все время представляя себе растение, которое и есть Тамао. Мир людей и мир растений полностью идентичны друг другу, но какому растению соответствует каждый человек, окутано тайной. Поэтому найти точное соответствие, наверное, очень трудно. Раз Тамао обретает чувственность всего на несколько мгновений за ночь, то и растение должно обретать чувственность Тамао совсем ненадолго.

Вдруг из дальнего конца опустевшего сада мне в глаза огнем ударило яркое пятно. Там стояли оранжереи, в которых, если я не ошиблась, росли розы. Почувствовав, что мои мысли вдруг резко переключились на розы, я поспешила в том направлении.

Войдя в оранжерею, я увидела ряды ухоженных цветущих кустов. Несколько раз я прошла взад-вперед по проходу. Сначала, оглушенная цветом и благоуханием, я не могла различить ни одного цветка в отдельности, но через некоторое время я уже была в состоянии внимательно рассматривать бутоны, особо привлекшие мое внимание. Я долго любовалась ослепительной желто-красной, с бесчисленными овальными лепестками розой, возле которой стояла табличка с названием сорта «дорэ». Потом — светло-пурпурным, исполненным достоинства цветком под названием «интафлора». Ярко-алые, бархатистые с отливом бутоны называ-

лись «ред-девил». Матово-черные с красным розы — «папа-Мэйян». Красные цветы, меж которых не было ни одной пары одинаковых, соперничали между собой в роскошном великолепии.

В углу теплицы находился небольшой шкафчик. Я открыла дверцу и увидела там полный набор новеньких садовых инструментов. Но мой взгляд задержался на старой лейке. Я взяла ее и налила воды из крана. Мне вдруг захотелось полить цветы. Розовые кусты очень любят воду.

Я наклоняла лейку, и тугие струи орошали землю у корней растений. Не спеша я переместилась от красных цветов к розовым. Мой взгляд задержался на изящных кремово-розовых бутонах. «Конфиданс», — прочла я на табличке.

Меня охватило чувство безбрежности. Как тяжела старая ржавая лейка в моей руке! Каждый день, один раз утром и один раз вечером, я поливаю свои розы. Утром — когда все еще спят, вечером — перед тем как начать готовить ужин. Поливать розы, не пропуская ни одного дня, — моя обязанность. Сейчас предвечерний свет падает косыми лучами, это час, когда все краски приобретают особую прелесть. В нашем краю солнце на закате уходит за море, его медово-желтые лучи вытягиваются все длиннее и длиннее. Я выхожу из теплицы и поливаю розовые кусты, которые еще не зацвели. Солнечные лучи, льющиеся с запада, окрашивают капли воды золотом.

— Тамао! — зову я сына, обернувшись к дому.

В это время за металлической сеткой забора, огораживающего двор, слышатся чьи-то шаги, и я чувствую, как кто-то останавливается у решетки.

— Извините, я впервые в этих местах. Не знаете ли вы, где здесь гостиница? — спрашивает меня голос.

Там стоит похожая на призрак женщина с растрепавшимися волосами.

— Ах, гостиница! Вам нужно дойти до отеля «Т.». Это там, в городе Т., — отвечаю я женщине.

Сөхэй Оока

Засада

大岡昇平

Засада

В начале 1944 года я проходил трехмесячный курс обучения во втором учебном подразделении Восточной армии. Незадолго до отправки на фронт ефрейтор, командир нашего отделения, собрал нас и произнес маленькую речь:

— Послушайте-ка, что я вам скажу, и хорошенько запомните. Когда пойдете в бой, не вздумайте орать перед смертью «Да здравствует император!». Поняли?

Командир никак не объяснил своих слов, но то, что гвардейский ефрейтор в каких-нибудь десяти кварталах от императорского дворца ведет столь кощунственные речи, меня поразило.

А позднее, уже на Филиппинах, наш командир роты как-то сказал:

— На Халхин-Голе я своими ушами слышал, как один смертельно раненный солдат крикнул: «Да здравствует император!» Никогда бы не поверил, что такое бывает, если бы не увидел собственными глазами.

В этих словах прозвучал странный для офицера скептицизм, произведший на всех нас большое впечатление. И все же я не думаю, что рядовой Кобаяси, подстреленный партизанами, крикнул перед смертью «Да здравствует император!», лишь пытаясь что-то кому-то доказать.

Рядовой первого разряда Кобаяси после двухмесячного обучения в Токийском военном госпитале был назначен в наше подразделение санитаром. Сын владельца обувного магазина в Канда, он в свои двадцать два года был длинным, бледным и хрупким на вид юношей с очень близорукими глазами. Однако, несмотря на такую внешность, в нем чувствовалась внутренняя сила. Во время восьмикилометрового форсированного марша от Кодзимати до Синагава, когда мы под палящим солнцем покидали Токио, он, един-

ственный из всех санитаров части, не отстал от своей роты.

К обязанностям санитары Кобаяси относился добросовестно и был всегда внимателен к солдатам. Чаще всего ему приходилось иметь дело с язвами, которые образуются на ногах в тропическом климате и очень трудно залечиваются. Он не жалел своей скудной аптечки, даже доставал лекарства на стороне, у филиппинских врачей. Одолжив на местном сахарном заводике весы, Кобаяси регулярно взвешивал солдат своей роты и, используя эти данные для обоснования недостаточности рациона, добивался от командования улучшения нашего питания. У нас в роте все его уважали.

После утренней поверки солдаты занимались гимнастикой. Проводить ее полагалось по очереди, причем последовательность упражнений и порядок подачи команд в армии строго установлены и нарушать их запрещено. Но мы, по полнение, прошедшее всего лишь трехмесячную выучку, не умели толком подавать команды, за что нас нещадно крыли унтера. Кобаяси, как санитар, проводить зарядку не назначали, но как-то раз, когда несколько солдат подряд получили взыскания за неправильную подачу команд, он вызвался сам и отлично справился с заданием. Всю зарядку — от упражнений для шеи до регулировки дыхания — он провел без единой ошибки. Унтер тогда всех нас обругал, а его похвалил.

Мы с Кобаяси дружили. Во-первых, я был ротным шифровальщиком, то есть таким же штабным солдатом, как и он, а во-вторых, по части язв на ногах со мной никто не мог сравниться во всем гарнизоне.

По утрам, когда остальных солдат гоняли на занятия, у меня начинался отдых, и я шел в медчасть к Кобаяси, который как раз тоже к этому времени заканчивал свои утренние дела. Мы болтали с ним о том о сем, а заодно он не спеша смазывал разными снадобьями мои язвы. Остальные, обливавшиеся потом на плацу, глядели на нас через окно, исходя черной завистью.

Старая солдатская поговорка гласит: «Слаще всего Кас-

торке да Дудке», то есть самая легкая служба у санитаря и у горниста. У нас в роте говорили: «Слаще всего Шифровке да Дудке», потому что я был гораздо большим лентяем, чем добросовестный Кобаяси.

Его и подстрелили-то по причине излишнего служебного рвения. Нам было известно, что по ту сторону залива Мангарин и на противоположном берегу реки Бузанга действуют отряды филиппинских партизан, но до тех пор, пока мы их не трогали, они на нас не нападали. После того как высадились американцы и нам пришлось отступить через горы, мы ждали атак со стороны филиппинцев, но они так ничего против нас и не предприняли. Вооружены они были не хуже, чем мы, и их пассивность, видимо, объяснялась тем, что в тот момент между нами боевых действий не велось.

Из Сан-Хосе тянулись две узкоколейки, по которым раньше с сахарного заводика возили продукцию на дрезине с бензиновым двигателем. Одна ветка вела к занятому нашими войсками порту Каминао, что в заливе Мангарин, другая — к пристани Сан-Агустин, расположенной на берегу океана.

До Каминао было десять километров, до Сан-Агустина — восемь. В треугольнике, две стороны которого образовывали узкоколейки, а третью — побережье, там и сям среди болот были разбросаны деревеньки. Впоследствии американцы построили здесь аэродром. А при нас в этих местах нередко находили убежище партизаны.

Однажды в середине ноября (это был, кажется, воскресный день) дрезина, на которой Кобаяси и еще несколько солдат ехали из Сан-Хосе в Каминао, совсем неподалеку от места назначения была атакована партизанами. Солдаты направлялись в Каминао для усиления нашего поста, расположенного там. А Кобаяси увязался с ними, прослышав, что на базе гидросамолетов, находившейся в Каминао, имеется большой запас лекарств. Он надеялся пополнить опустевшую ротную аптечку.

К дрезине были прицеплены два маленьких вагончика

со скамейками вдоль стен — когда-то целые поезда из точно таких же вагончиков ходили в Японии на небольших частных линиях.

Сначала в качестве горючего для дрезины брали спирт из запасов сахарного заводика, а после того как спирт кончился, стали использовать ручную тягу. Во время сражения на острове Лейте участились случаи аварийной посадки подбитых самолетов на запасные посадочные полосы, и всем местным гарнизонам для оказания помощи летчикам было выдано по две цистерны бензина. Наша рота пустила свой бензин на то, чтобы снова ездить на дрезине. Правда, к этому времени машинист, служащий сахарной компании, уже уехал в Манилу, и командование запретило нам без него пользоваться дрезиной. Станный запрет, если вдуматься. Однако один из наших солдат, бывший зеленщик, который немного разбирался в машинах, исследовав двигатель, вызвался быть машинистом.

В тот день дрезина, на которой ехали унтер-офицер, четыре солдата и санитар Кобаяси, отправилась из Сан-Хосе около полудня. Примерно через час к нам в роту позвонили с поста в Каминао и сообщили, что на дрезину совершен налет и до места назначения добрались только унтер с тремя солдатами.

Командир роты немедленно поднял по тревоге два взвода с пулеметной командой и, прицепив к ручной дрезине вагон, отправился к месту происшествия. В казарме нас осталось всего десять человек.

Часа в три пришел местный фермер, поставлявший нам маис, и сообщил, что от залива Мангарин по направлению к Сан-Хосе движется отряд партизан численностью в полторы сотни человек. Мы тут же связались с Каминао, но рота туда еще не прибыла, а личный состав поста почти весь отбыл к месту происшествия. Дежурный сказал, что звуков стрельбы не слышно и боя, стало быть, нет. Оставив через него донесение командиру роты, мы, оставшиеся в лагере, заняли оборонительные позиции.

За старших у нас были командир одного из взводов и унтер-офицер. Унтер, набывчившись, воинственно рявкнул:

— Пусть только сунутся! Мы их заставим отведать японского меча! — и пару раз взмахнул обнаженным клинком.

Но партизаны, по нашим сведениям, были вооружены автоматами. Если их действительно полторы сотни, подумал я, нам, десятерым, конец. Мне поручили охранять западный угол казарменного двора, участок метров в сорок. Я залез в прикрытый травой окопчик, вырытый дозорными, и, высунув голову, стал смотреть вперед.

За невысокой живой изгородью тянулись поля, их пересекала речка. Враг двигался именно с этого направления, но я не думал, что партизаны станут атаковать на открытой местности, да еще с речкой. Она была хоть и неширокой, но все же представляла собой значительное препятствие для нападающих.

За моей спиной, с противоположной стороны казармы, пространство тоже было открытым, но если зайти с фланга, то там под прикрытием рощи противник мог незаметно подобраться к зданию метров на сто, если не ближе. Даже мне, рядовому солдату и полному профану в тактическом искусстве, было ясно, что если партизаны нападут, то только оттуда. Командир взвода, видимо, считал так же, и с той стороны оборона была плотнее.

Впрочем, партизанам законы тактики неизвестны, да и потом, на их стороне было такое численное превосходство, что они безбоязненно могли атаковать нас с любого направления. Я неотрывно вглядывался вдаль, с минуты на минуту ожидая, что из-за домов и деревьев, видневшихся за рекой, покажутся фигурки вооруженных людей.

Там стояла церквушка, к которой вела дорога. По ней не спеша тянулись филиппинцы, направляясь на воскресную службу. Как только их хождение прекратится, это будет знак, что партизаны близко, подумал я.

И все-таки ощущения опасности не возникало. Не было и страха. Когда надвигается нечто ужасное, не верится, что

оно все же произойдет. А уж если произошло, то времени испугаться не остается. Но напряжение, безусловно, было. Выставив вперед винтовку, я изготовился стрелять, как только покажется противник.

Несколько месяцев спустя, во время отступления, наткнувшись в горах на американцев, я стрелять не стал. Я совсем ослаб от малярии и отстал от своих. Стал бы я стрелять или нет, мне все равно было не спастись, и я ясно это понимал.

Ситуация, когда мы вдесятером ждали нападения полутора сотен партизан, в общем, была схожей, но тогда я отчаяния не испытывал — наверное, потому, что чувствовал себя членом группы.

Мой сосед сидел метрах в двадцати, спрятавшись, как и я, в окопчике, и тоже смотрел вперед. Мне хотелось крикнуть ему что-нибудь, но разговаривать было запрещено, меня непременно обругали бы командиры.

Я не испытывал к противнику ни малейшей ненависти. Но, подумалось мне, если они убьют моего соседа, я их возненавижу. До этого мне пришлось видеть только призрак врага. Я говорю «призрак», потому что на самом деле врага не было, но ощущение осталось.

У нас шли занятия в казарме, когда вдруг раздался крик: «Атака противника!» Выглянув из окна, я увидел, как между кокосовыми пальмами бегут, приближаясь, какие-то фигурки. Как выяснилось позднее, это были наши же солдаты, возвращавшиеся с учений, которым приказали атаковать воображаемого неприятеля, якобы засевшего в казарме. Унтер-офицер, проводивший занятия с нами, был заранее предупрежден об этом учебном нападении и подал команду «Атака противника!», чтобы заодно провести и тренировочную тревогу.

Сам не понимаю, как я мог всерьез принять солдат в японской форме за противника. Наверное, просто потерял голову от испуга. Ведь я совершенно отчетливо разглядел и знакомые гимнастерки цвета хаки, и наши каски. Я помню, как меня охватило оцепенение, словно при явлении привиде-

ния. Этот шок, несомненно, был вызван неожиданным испугом, но впоследствии, когда я действительно наткнулся на американцев, то подобного потрясения не испытал. Видимо, парализующий эффект был вызван тем, что увиденный мною враг оказался в нашей военной форме. Думаю, если бы атаковали филиппинские партизаны, к чему я подсознательно был готов, шока бы не произошло.

Тогда мы все разом подхватили винтовки и патронташи и бросились вниз. Сразу прозвучала команда «Отбой!». И вовремя, а не то какой-нибудь особенно перепуганный солдат вроде меня открыл бы стрельбу.

В тот раз с нами сыграли шутку собственные глаза, но так одурачить можно только зеленого новобранца, позднее этот номер уже не прошел бы. Солдат стреляет на любое движение или звук, подчас не успевая разобрать, кто и что перед ним, и это, наверное, единственно правильный способ выжить на войне. Иначе тебя очень скоро убьют. Сидя в щели на казарменном дворе и наблюдая за полем, я размышлял именно об этом. То были жестокие мысли, но на войне иначе нельзя. И никакие проповеди умозрительного гуманизма не в состоянии заставить солдат воевать по-другому. Единственное средство — вообще запретить войну.

За рекой движение филиппинцев по дороге к церкви и обратно не прекращалось. Мне это начинало казаться странным. Если правда, что нас собираются атаковать партизаны, то все местные жители попрятались бы кто куда. Пусть повстанцы еще далеко, но у крестьян нашлось бы занятие поважнее, чем ходить к обедне, верь они, что нападение состоится. У меня появилось подозрение, что пресловутые полторы сотни человек, о которых сообщил нам фермер, и были той самой группой, которая совершила налет на дрезину. Или вообще нас нарочно дезинформировали, чтобы отвлечь основную часть роты от преследования партизан. Фермер прикидывался нашим союзником, но я прекрасно понимал, как относятся к нам филиппинцы на самом деле.

Пошел дождь. Я самовольно покинул пост и залез под

навес склада, стоявшего немного позади, а потом и забрался в само помещение, спрятавшись за дверью. Когда унтер назначал мне участок обороны, он был сильно возбужден и не указал точного места, поэтому мне вряд ли сильно влетело бы за то, что я вылез из окопчика.

На складе хранились запасы продовольствия: до самого потолка были навалены мешки с рисом, оставшиеся от ранее расквартированной здесь части, стояли огромные коробки с неочищенным сахаром. Сахара в то время уже не хватало, и солдатам его почти не выдавали. Склад располагался метрах в двадцати от казармы, никому, кроме повара, в него заходить не разрешалось, так что мне, можно сказать, повезло. Я продолжал вести наблюдение через дверь, то и дело запуская руку в коробку с сахаром.

Мой сосед справа тоже ушел со своего места и, кажется, спрятался под козырек крыши казармы. Деревья и дома по ту сторону речки скрылись за пеленой дождя, дорога к церкви опустела. Перед моими глазами расстился мирный деревенский пейзаж. Я был уже почти уверен, что сообщение о партизанах ложно.

В конце концов скомандовали возвращаться в казарму. Рота прибыла в Каминао, и была установлена связь с командиром. Он счел слух о готовящемся на нас нападении полным вздором и сообщил, что переночует в Каминао, а в Сан-Хосе вернется на следующий день, прочесав на обратном пути весь треугольник между двумя железными дорогами и побережьем. Наш взводный попросил вернуть хотя бы один взвод в лагерь сегодня же, но командир не стал его слушать. Подпоручик отправил донесение в штаб батальона в Батангас и, пересказав нам его содержание, тоскливо пожаловался:

— Откуда он знает, дезинформация или нет. Разве можно так распылять силы? Если они нападут, нас здесь всех перебьют.

Взводный выслужился в офицеры из добровольцев эпохи Тайсё*, он был порядком трусоват. Его донесение в штаб

* Годы правления императора Тайсё (1912—1926).

кончалось словами: «Умираем, но не сдаемся». Когда на следующий день вернулся командир роты, он поднял подпоручика на смех.

— Это тебе не игра в войну,— сказал он,— а поднимать столько шума из-за каких-то паршивых партизан просто смешно.

Сам ротный использовал эту ставшую шаблонной фразу в своем последнем донесении после того, как на острове высадились американцы.

А партизаны так и не появились.

Прибыв к месту, где был совершен налет на дрезину, наши обнаружили там мертвого Кобаяси и оставшегося рядом с телом одного солдата. Когда восстановили картину происшествия, выяснилось следующее.

В этом месте находился полустанок с небольшим запасным путем. С одной стороны узкоколейки тянулась земляная насыпь, с другой расстиались поля. На самом полустанке никаких служащих, естественно, не было. Стрелка обычно была установлена, открывая основной путь, но в тот день дрезина с вагончиком вдруг свернула на запасной. Солдат-машинист резко затормозил и пошел назад к стрелке, чтобы перевести ее в нормальное положение. Оказалось, что в нее вбит камень. Почувствовав неладное, машинист обернулся, и в это самое мгновение по дрезине открыли огонь.

Оставшиеся в дрезине солдаты смотрели вслед своему товарищу, направившемуся к стрелке. Один из них, случайно взглянув на насыпь, увидел там залегших в траве филиппинцев с наведенными автоматами. Солдат крикнул:

— Берегись! — и выпрыгнул из окна выгончика на противоположную сторону железнодорожной колеи. Тут и началась стрельба.

Под градом пуль остальные солдаты тоже стали прыгать из вагончика на землю. У Кобаяси, наверное, оттого, что он все-таки был не настоящим пехотинцем, а санитаром, реак-

ция сработала не так быстро, и он успел получить две пули в грудь. Свалившись на рельсы, он пополз к укрытию. А остальные тем временем неслись сломя голову прочь. Свидетели рассказывали, что особенно хорош был командир, фельдфебель из резервистов, который бежал впереди всех, втянув голову в плечи. Да и подчиненные по мере сил старались не отставать от начальства. Единственным, кто не бросил Кобаяси и начал отстреливаться, был невзрачный заика по имени Сибамото.

Он говорил, что, поскольку перестрелка велась из-за дрезины и вагончика, он не видел партизан, но человек десять их точно было. Потом они прекратили огонь, и он тоже перестал стрелять. Конечно, если бы филиппинцы бросились вперед, обоим нашим настал бы конец, но Сибамото не очень этого опасался, зная, что партизаны под пулю не ползут. Потом с насыпи донесся звук удаляющихся шагов, и все стихло.

Кобаяси лежал на спине чуть поодаль и громко стонал. Когда Сибамото подошел к нему, он пробормотал:

— Подстрелили меня, подстрелили... — и стал рвать пуговицы залитой кровью гимнастерки. Сибамото достал из санитарной сумки раненого бинт и под руководством Кобаяси наложил ему временную повязку. Одна из пуль, кажется, засела в груди. Другая оставила спереди совсем небольшую дырочку, но когда непривычный к виду ран Сибамото увидел сзади, на спине, выходное отверстие, похожее на распутившийся багровый цветок, его бросило в дрожь.

Вокруг не было ни души, жарко свстило солнце. Сибамото говорил товарищу какие-то ободряющие слова, но у того уже не хватало сил отвечать. Он лишь тихо стонал и изредка вскрикивал: «Больно! Ох, какая боль!» Потом стал повторять: «Простите меня, простите... Мама... папа, простите меня». В глазах раненого стояли слезы. Вдруг он плачущим голосом воскликнул:

— А! Обделался! — и взглянул в глаза Сибамото. Тот

рассказывал, что впервые видел взгляд, полный такого безысходного отчаяния.

Кобаяси не мог больше удерживать содержимое кишечника, и ему как санитару было хорошо известно, что это — первый признак приближающейся смерти. Сибамото стянул с него штаны и стал обтирать его. От резких движений Кобаяси снова закричал, но когда Сибамото спросил: «Может, не стоит?» — он, стиснув зубы, прошептал: «Нет, надо. Прошу тебя». Потом ему стало немного легче. Он некоторое время лежал молча, а затем посмотрел на Сибамото и сказал:

— Раз я обделался, значит, скоро умру. Я должен выполнить свой долг. Сейчас я крикну «Да здравствует император!», а ты слушай.

И он три раза слабым голосом прокричал: «Да здравствует император!», «Да здравствует император!», «Да здравствует император!»

«А ты слушай» — так сказал Кобаяси. Значит, это было сделано напоказ. И все-таки он не притворялся, ведь показное не всегда фальшиво.

Почтение к особе императора насаждалось всей системой образования со времен эпохи Мэйдзи*. Когда в воспитание вмешивается политика, это всегда приводит ко лжи, хотя народ обмануть не так-то просто. Но Кобаяси был честным и совестливым парнем, такому необходим идеал, и этим идеалом для него стал император. Ведь в бога японцы не верят. Политика насквозь проникнута ложью, но из этой лжи рождается подчас нечто подлинное, что создает историю и определяет людские судьбы.

Потом Кобаяси еще некоторое время стонал от боли, но его голос становился все тише, он постепенно терял сознание и наконец умолк. Только голова покачивалась справа налево в такт дыханию, как будто он с чем-то не соглашался. Но движения становились все замедленнее и вскоре прекратились совсем.

* Годы правления императора Мэйдзи (1868—1912).

Сибамото почувствовал прилив бешеной ярости. Он выбежал на рельсы и, заикаясь, закричал:

— Эй, в-вы! А ну, выходите! Я вас всех п-перестреляю!!!

Слезы лились ручьем по его лицу и капали на землю. Никогда в жизни я так не плакал, рассказывал он нам. Но партизан на насыпи давно уже не было, только тихо шелестела обожженная солнцем трава. Тут и рота подросла.

Почти сразу же на ручной дрезине приехал и отряд из Каминао. Они положили труп на носилки и увезли, а рота приступила к преследованию партизан.

Крестьянка, живущая неподалеку от узкоколейки, сказала, что сразу после стрельбы группа человек в тридцать пересекла колею в месте, расположенном ближе к Сан-Хосе. Естественнее всего было предположить, что партизаны пришли с другого берега залива Мангарин, то есть со стороны, противоположной той, на которую показала крестьянка. Филиппинцам доверять было нельзя, и если она говорила, что партизаны пересекли железную дорогу, скорее всего, их там вообще не было, но командиру роты не оставалось ничего другого, как вести поиск в указанном направлении.

Рота стала прочесывать местность, заходя в разбросанные по широкой равнине дома и опрашивая крестьян. Никто из них ничего не видел. Недалеко от побережья находился поселок Биган — скопление плотно сбившихся домов. Тамощные жители смотрели на наших с неприкрытой враждебностью, совсем не так, как филиппинцы в Сан-Хосе, Каминао и других населенных пунктах, занятых японскими войсками. «Прямо не верится, что отсюда до наших постов всего два километра», — сказал кто-то из солдат.

Никаких партизан, конечно, обнаружить не удалось. Полил дождь, дороги расползлись от грязи. Рота вышла к побережью и несолоно хлебавши по песчаным пляжам вернулась в Каминао.

Ни до того, ни позднее партизаны на нас налетов не совершали, этот случай остался единственным. Сражение на острове Лейте переходило в разгром, мощь японской армии

чахла не по дням, а по часам, но партизаны почему-то больше ничего против нас и не предприняли.

Я для себя их нападение объясняю так.

В Каминао на приколе стоял неисправный моторный катер. Поскольку корабль из Батангаса заходил к нам всего два раза в месяц, командир роты поручил нескольким солдатам, кое-что смыслившим в технике, на всякий случай отремонтировать катер. Они наладили двигатель, но во время пробного плавания он опять заглох, и суденышко выбросило на берег как раз напротив поселка Биган. Однако ротный не оставил своей затеи и каждый день посылал четыре-пять человек из Сан-Хосе, чтобы снова привести катер в порядок. Если Биган был одним из оплотов партизан, то такое соседство им, конечно, понравиться не могло. Солдаты-ремонтники обычно доезжали на дрезине до того места, где был совершен налет, а оттуда шли до берега моря пешком. Может быть, партизаны своим нападением хотели положить конец этим путешествиям? В день налета у ремонтников по чистой случайности был выходной. Командовавший ими унтер сказал, проведя ладонью по горлу:

— А то бы прикончили нас как пить дать.

Позднее, уже в лагере для военнопленных на Лейте, я встретил одного матроса с потопленного у здешних берегов еще в конце сентября эсминца. Когда он доплыл до деревни, на берегу — а судя по описанию, это был именно Биган — его схватили филиппинцы и отвели в дом, где сидел американский офицер. Видимо, поселок действительно являлся гнездом партизан. Стоило им сбросить снаряжение, и их было уже невозможно отличить от мирных жителей, так что преследование, затеянное командиром нашей роты, и не могло дать никаких результатов.

На следующий день после налета солдаты, продолжая прочесывание местности, вернулись в Сан-Хосе, но это фактически было уже просто учение.

Тело санитары Кобаяси привезли в лагерь на той же дрезине. Я как раз стоял в дозоре. Все мы, часовые, выстроили-

лись и отсалютовали носилкам винтовками. Из-под края грязного одеяла виднелось белое заострившееся лицо.

Только не подумайте, что его смерть меня хоть как-нибудь взволновала. С тех пор как мне велели надеть военную форму, меня ни разу не тронула гибель других солдат. Они умирали точно так же, как в любой момент мог погибнуть я сам. Под предлогом того, что был в наряде, я не пошел ни на поминки, ни на похороны.

Труп сожгли той же ночью на заднем дворе. Один молодой солдатик из крестьян не поленился, запас целую поленицу дров, срубив несколько крепких деревьев, но тело все равно сгорело лишь наполовину. Так его и закопали.

Кобаяси посмертно произвели в ефрейторы и поставили в углу казарменного двора белый деревянный столб метра в два высотой с надписью: «Здесь покоится ефрейтор Кобаяси». Мы прокосили в траве тропинку к столбу и через месяц отметили день гибели санитаря. Этим все и закончилось. Прежде чем миновал еще один месяц, на остров высадились американцы, и мы были вынуждены уйти из лагеря.

Дзиро Икусима

Таксист

生島治郎

Таксист

«Не суди о человеке по наружности» — говорят в Японии, и к Рёскэ Ханай эти слова подходили как нельзя лучше. Ему было шестьдесят два, но выглядел он гораздо моложе, самое большее — лет на пятьдесят с хвостиком. Волосы у него, правда, уже поредели, но лысина пока не появилась, а морщины на свежем, загорелом лице не бросались в глаза. Дружелюбные, немного навывкате глаза под вопросительно приподнятыми бровями, вздернутый нос, мясистый улыбчивый рот. В общем, это круглое, толстошеекое лицо свидетельствовало о том, что его обладатель — человек покладистый и незлой. Несмотря на пухлую физиономию, небольшое тело Ханай было крепко сбитым и мускулистым.

Последние пятнадцать лет он проработал таксистом, но его миновали профессиональные шоферские недуги — боли в позвоночнике и желудочно-кишечные заболевания. Сам факт, что в шестьдесят два года Ханай ни на что особенно не жаловался, красноречиво говорил о его железном здоровье.

И тем не менее с работой ему пришлось расстаться, а с этим он примириться никак не мог. Рёскэ работал шофером в одной из четырех крупнейших таксомоторных компаний, а там пенсионный возраст был установлен в шестьдесят лет. Поскольку Ханай и достигнув этого рубежа, привозил выручки не меньше, чем более молодые водители, руководство фирмы некоторое время смотрело на его возраст сквозь пальцы, но через два года компании все-таки пришлось отстранить Ханай от работы, так как это шло вразрез с установленными правилами. Нельзя было ставить одного шофера в исключительное положение, создавая нежелательный прецедент.

Руководство компании сняло Ханай с рейсов и предложи-

ло ему канцелярскую работу, но он не согласился. Так на его месте поступило бы большинство таксистов. Они привыкли к тому, что стоит им выехать за ворота парка, и они вольные птицы — не надо сидеть весь день, скрючившись за столом, подстраиваться под настроение начальства, как приходится обычным служащим. В этом, безусловно, есть своя прелесть: сел в машину, тронулся с места — и ты сам себе хозяин. Существует, конечно, определенная норма дневной выработки, и если водитель ее не выполнит, он ничего не зарабатывает.

Таксисту с хорошим чутьем сделать норму — раз плюнуть, в особенности если он работает в крупной фирме, которая обязательно имеет множество постоянных клиентов. Машины такой компании оснащены радиотелефоном, и заявки от клиентов сразу передаются шоферам из диспетчерской, так что им заработок дается гораздо легче, чем водителям небольших транспортных фирм.

Провести за рулем почти целые сутки, постоянно разыскивая новых пассажиров, очень тяжело, это требует огромного напряжения — и физического, и нервного; к концу смены шоферы от усталости буквально валятся с ног. Но зато им не приходится, как большинству людей, сидеть привязанными к рабочему месту, и к этому прибавляется еще горделивое сознание того, что ты зарабатываешь деньги совершенно самостоятельно, без чьей-либо помощи и под- сказки.

Порой бывает, что таксист, устав от тяжелых нагрузок и вечного беспокойства по поводу нормы, бросает свою работу и поступает на какую-нибудь обычную службу, однако, будучи не в силах вынести скованности и монотонности новой работы, он чаще всего снова садится за баранку.

Рёскэ Ханаи был таксист до мозга костей. Машина слушалась малейшего прикосновения его пальцев, и еще он обладал поразительным чутьем на клиента. Для шофера такси главное — уметь с одного взгляда безошибочно определить, кто из прохожих станет пассажиром, а кто нет, и еще

очень важно рассчитать время так, чтобы потенциальный клиент сел в твою, а не в чужую машину. Здесь все решается мгновенно, с помощью шестого чувства. Таксист, имеющий «нюх», всегда притормозит перед клиентом секунда в секунду и лихо умчит его прочь. А шофер, лишенный этого чутья, на несколько секунд опоздает, и пассажира уведут у него из-под носа.

Рёскэ имел безошибочный «нюх», к тому же за пятнадцать лет работы таксистом у него набралось немало постоянных клиентов. Поэтому он чувствовал себя очень уверенно и каждый раз, кружа по улицам, испытывал огромное удовольствие, проверяя свое шестое чувство при поиске очередного пассажира.

Нет, ему не улыбалось менять свою баранку на каждодневное сидение за канцелярским столом. Решив, что лучше вообще уйти из фирмы, Рёскэ подал заявление и уволился.

В маленьких компаниях не так строго придерживаются правил, подумал он и попытался найти работу там, но даже маленькие фирмы, узнав, что ему уже шестьдесят два, брать его не хотели. Так Рёскэ стал безработным. У него имелись кое-какие сбережения, и нищета ему пока не грозила, но этих денег не могло хватить надолго. Надо было искать работу.

Кроме того, у Рёскэ росла дочь, в этом году ей исполнилось восемнадцать. Она родилась, когда ему уже стукнуло сорок четыре, и после того, как три года назад умерла жена, Рёскэ жил с дочкой вдвоем. Весь смысл его жизни заключался в Масако. Девушка совсем недавно поступила на первый курс колледжа, и Рёскэ твердо решил продолжать работать до тех пор, пока она не закончит учебу.

Как всегда, он проснулся ровно в полночь. Поужинав с дочкой в шесть часов вечера, Рёскэ ложился спать и в двенадцать просыпался. За последние полгода это вошло у него в привычку.

Когда Рёскэ был моложе, он мог двое суток подряд обхо-

диться без сна и никогда не клевал носом, если не выпался, но теперь годы брали свое. От недосыпа в теле после ночной работы накапливалась усталость. Но шести часов сна было вполне достаточно, чтобы он чувствовал себя бодрым и отдохнувшим.

Встав с кровати, Рёскэ сладко зевнул и вышел в пижаме на кухню, чтобы сварить кофе. Услышав его шаги, из соседней комнаты высунулась Масако. Их квартира состояла из двух комнат. Рёскэ спал в той, что ближе к прихожей, а дальняя, десятиметровая, была отдана в распоряжение дочери.

— Пап, ты встал? Уже пора уходить? Давай я тебе что-нибудь приготовлю перекусить.

— Не надо. Иди спи. Завтра занятия.

Каждый раз, когда Масако из-за него просыпалась, Рёскэ испытывал угрызения совести, но ее внимание было ему очень дорого. Ради такой дочки стоит вкалывать, думал он.

— Ничего,— сказала Масако, заходя в кухню,— у меня завтра занятия после обеда. Я лежала и читала, не переживай. Давай лучше собирайся.

— Ну-ну, ладно.

Рёскэ пошел в ванную, почистил зубы, побрился, ополоснул лицо холодной водой и не спеша справил нужду.

Настроение стало ровным, хорошим, теперь можно было и на работу. Выйдя из ванной, Рёскэ потянул носом аппетитный запах, доносящийся из кухни. Он надел серую водолазку, синий джемпер и синие же брюки. Вещи были не новые, но чистые и непотрепанные. Выглядеть аккуратно и не бросаться в глаза было очень важно для работы Рёскэ. Внимательно осмотрев себя в зеркале, он остался доволен.

— Папа, иди есть,— позвала из кухни Масако.

На столе стояли яичница с ветчиной, тосты и только что снятый с плиты кофе. Рёскэ был уже не в том возрасте, когда просыпаются со зверским аппетитом, но на пустой желудок много не работаешь. Яичница с ветчиной и тосты — как

раз то, что нужно. А кофе просто необходим, чтобы во время ночной работы не клонило ко сну.

— Красота! — улыбнулся Рёскэ дочке и, сев за стол, начал есть.

— Слушай, пап,— сказала Масако, пристроившись с чашкой кофе напротив него,— почему тебя все время назначают в эту смену? Ты не можешь попросить, чтобы пораньше? Не молоденький уже по ночам работать, загубишь вот здоровье.

Рёскэ вздрогнул и с трудом протолкнул в горло недожеванный кусок тоста. Смутившись, он отхлебнул кофе и закашлялся.

— Так удобней фирме. Ничего не поделаешь.

Он так и не сказал Масако, что уволился. Тем более она ничего не знала о его нынешнем занятии. Надо было придумать какое-то объяснение.

— Я ведь уже достиг пенсионного возраста. Поэтому меня больше не используют как штатного водителя. Я все время на подмене. В такси, дочка, на одной машине обычно ездят два шофера. Каждый работает по тринадцать дней в месяц, и если, скажем, один из водителей заболел, вызывают подмену. Раз я вышел из возраста, меня и перевели в такие вот внештатные водители. И то еще повезло. Обычно просто увольняют безо всяких разговоров.

— Но почему тебе все время приходится подменять по ночам? Неужели ничего нельзя сделать?

— Нет. Дневную смену всегда отдают штатным шоферам. Вот и получается, что свободным чаще всего остается ночное время. А мне так даже лучше. Если б я ходил в парк днем, труднее было бы получить машину, а чем сидеть там и ждать, не освободится ли какое-нибудь такси, лучше уж ходить ночью. Почти наверняка без работы не останешься. Так что ты не волнуйся. Я пятнадцать лет прокрутил баранку, сутками не вылезал из машины. По сравнению с той порой сейчас просто лафа.

— Да мне невыносима мысль, что ты вообще должен ра-

ботать в таком возрасте! — со слезами в голосе воскликнула Масако. — Надо бросать колледж и устраиваться куда-нибудь на работу. Тогда тебе не придется надрываться.

— Не болтай ерунды! Скольких трудов стоило попасть в колледж, а ты хочешь все усилия пустить на ветер?! Да ни за что на свете!

Рёскэ грохотал и делал страшные глаза, но сердце его разрывалось от любви, когда он смотрел на заплаканное, совсем еще детское лицо Масако. «Да для такой дочки я на что хочешь пойду!» — снова подумал он.

— И потом, я люблю свою работу. Мне нравится быть таксистом. Я не уйду из фирмы вовсе не из-за твоей учебы. Пока я здоров, я такси не брошу.

И это было правдой.

— Если я перестану работать, я сразу превращусь в старика. Такси — залог моего здоровья. А брось ты колледж и устройся куда-нибудь на службу, тебе будут платить столько, что мне этого и на табак не хватит. Я должен накопить немного денег на старость. Понимаешь, Масако?

— Да.

Масако смахнула слезы кончиками пальцев и улыбнулась отцу.

— Я буду хорошо учиться и получу диплом, а потом устраюсь на работу в солидную фирму, и тогда у тебя, папочка, будет все, что ты захочешь.

— Ну вот и умница.

Рёскэ тоже улыбнулся и, доев все до последней крошки, встал из-за стола.

— Ну, я пошел.

— Счастливо, папочка.

Масако проводила его до двери и помахала вслед рукой. Этот детский жест, такой знакомый Рёскэ, помог ему вновь обрести хорошее расположение духа.

Отойдя метров на пятьсот от дома, он остановил такси и велел водителю ехать в Икэбукуро. Путь неблизкий и влетит в копеечку, но ничего не поделаешь. За минувшие

полгода Рёскэ «обработал» все более или менее близкие районы, а промышлять несколько раз в одном и том же месте было опасно.

Он, конечно, прекрасно знал, как быстрее всего доехать от этой улицы до Икэбукуро,— за пятнадцать лет работы в такси названия и расположение кварталов, улиц, домов и парков накрепко засели в его голове. Но водитель машины, в которую он сел, молодой парень лет двадцати пяти, судя по всему, набраться опыта еще не успел. Для такого ветерана, как Рёскэ, это было заметно с первого взгляда — по тому, как шофер брался за рычаг переключения скоростей, следил за проезжей частью, вообще по самому ходу машины.

Сидевшему на заднем сиденье Рёскэ неопытность шофера действовала на нервы, и он с трудом сдерживался, чтобы не начать учить парня уму-разуму. Только когда машина свернула не в ту сторону, он сделал водителю замечание. Среди таксистов попадаются такие, которые, видя, что пассажир не знает дороги, норовят повезти его кружным путем, чтобы побольше нашелкало на счетчике. Но этот парень, видимо, просто еще недостаточно хорошо знал город. Рёскэ объяснил ему, как надо ехать, и шофер удивился:

— Как вы хорошо знаете Токио! Лучше, чем мы, таксисты.

Рёскэ внутренне замер, но ответил нарочито небрежным тоном:

— Да нет, просто я всегда езжу этой дорогой, только и всего.

Опытный таксист сразу распознал бы в нем своего, а этот еще слишком зелен, успокоил себя Рёскэ.

— Что, все время ездите в Икэбукуро по ночам? — еще больше поразился шофер.— Извините, а что это у вас за работа такая?

— Почему работа? Я иногда, как сегодня, например, засиживаюсь тут у приятеля за игрой в маджан*, вот и при-

* Китайская игра в кости.

ходится возвращаться домой на такси. Я живу в Икэбукуро.

Рёскэ внутренне улыбнулся, представив, как отвисла бы челюсть у парня, если бы тот узнал, что они коллеги да еще кое-что насчет его ночной работы.

— В моем возрасте уже утомительно засиживаться за игрой допоздна.

— Наверно. Среди нас, таксистов, тоже многие любят играть на деньги. Есть такие, которые все свободное время во что-нибудь режут. Я тоже люблю это дело. Тут продулся в пух и прах, вот и приходится навестывать за баранкой.

Рёскэ и сам знал, что таксисты любят азартные игры, будь то скачки, бега, маджан, карты или кости. Те из них, кому вдруг повезет, нередко пускаются в темные делишки и, как правило, остаются на бобах, потеряв в этих махинациях и силы, и здоровье. Встречаются, правда, и таксисты другого типа — оборотистые ребята, которые, скопив немного денег, начинают ссуживать своим азартным товарищам под проценты, спекулируют земельными участками, да еще, глядишь, и жена у такого хозяйничает в собственной забегаловке. Рёскэ не относился ни к тем, ни к другим. Он был не прочь иногда сыграть в приятной компании, но всерьез этим никогда не увлекался. Не пытался он и наживаться на страстях своих товарищей. Рёскэ всегда гордился, что зарабатывает на жизнь честным трудом...

Он вышел из такси примерно за полкилометра до намеченного места. Ближе вылезать никак нельзя: если потом начнется разбирательство, шофер может сопоставить факты и сообщить в полицию его приметы.

На улице не было ни души, шел второй час ночи. Рёскэ неторопливо приближался к цели своей поездки. Это был гараж небольшой таксомоторной компании. Он заранее выяснил, что фирма имеет около двадцати машин. Именно такие предприятия подходили для его намерений лучше всего.

«Работа» Рёскэ заключалась в том, что он пробирался

в гараж, садился в чужое такси и уезжал в город на промысел. Таких, как он, прозвали «похитителями такси». Угнанную машину он никуда не прятал и никому не продавал. Он просто как бы «одалживал» ее у компании на время, возил пассажиров, а потом, израсходовав бензин, бросал автомобиль и возвращался домой.

Сам перед собой Рёскэ оправдывался тем, что машины не крадет — ведь они потом все равно возвращаются к владельцам. Он берет немного бензина и некоторое время пользуется машиной, только и всего. Фирма терпит не бог весть какие убытки, а значит, не так уж велика и его вина.

Доход от этого промысла Рёскэ имел неплохой. Обычный таксист зарабатывает за день тысяч тридцать иен. Шестьдесят процентов выручки достаются ему, остальное забирает фирма. В крупных компаниях водители получают фиксированную зарплату, которая вместе со сдельным заработком дает в месяц тысяч двести. Такие компании гарантируют социальное страхование и все такое прочее, но за это и берут не сорок процентов выручки, а пятьдесят.

В небольших фирмах постоянной зарплаты шоферы обычно не имеют, а работают только сдельно: сколько заработал, столько получил. Но в отличие от таксистов крупных компаний, они, как правило, не получают заказов через диспетчерскую, и им приходится полагаться только на себя. Все же за тринадцать смен в месяц, по двадцать четыре часа каждая, свои двести тысяч таксисты имеют и там, а те, что пошустрее, могут заработать и все триста.

Рёскэ же не надо было делиться с фирмой, он всю выручку клал себе в карман. Однако доля риска с каждым «выходом на дело» все возрастала, поэтому Рёскэ взял за правило отправляться на свой ночной промысел не чаще пяти раз в месяц, а остальное время занимался сбором сведений об очередном «объекте». Но и пяти раз для такого опытного таксиста было достаточно, чтобы зарабатывать в месяц тысяч полтораста.

За полгода Рёскэ «обработал» немало таксомоторных

компаний, выбирая те, что поменьше. Дилетанту может показаться, что угонять такси у больших фирм, имеющих по несколько автопарков и не одну сотню машин, гораздо проще, но Рёскэ сам раньше работал в крупной фирме и знал, что это далеко не так.

Каждая из четырех компаний-гигантов имеет радиоцентр и в случае угона такси немедленно извещает по радио всех своих шоферов, находящихся в рейсе, чтобы те искали похищенный автомобиль. Четыре компании помогают друг другу, сообщая водителям данные о пропавшей машине, даже если она принадлежит другой фирме. В общей сложности этим компаниям принадлежит более тысячи такси, так что укрыться от внимательных глаз их водителей, снующих по всему городу, совсем не просто.

По этим соображениям угонять машины крупных фирм не имело смысла: много риска, много нервов и очень мало районов, где можно спокойно «работать».

Эффективность системы радиосвязи больших таксомоторных компаний признала и полиция. В случае какого-либо чрезвычайного происшествия она немедленно обращается к таксистам за помощью. Тогда из диспетчерской подают шоферам особый, в каждой фирме своим кодом, сигнал и передают информацию, используя условный язык, непонятный пассажирам. Например, если разыскивается особо опасный преступник, совершивший убийство или ограбление, диспетчер объявляет: «Одним из пассажиров оставлен в такси большой коричневый портфель. Приметы пассажира...» — и дальше следует описание одежды, возраста и прочих примет преступника.

Если в машину сел пассажир, похожий по описанию на разыскиваемого, шофер зажигает красную лампочку, специально установленную на крыше автомобиля. Тогда первая же встречная патрульная машина остановит такси и проверит пассажира. Конечно, можно было бы просто отвезти подозреваемого в ближайший полицейский участок

или остановиться возле любого поста, но в случае ошибки клиент наверняка устроит таксисту скандал, и престиж фирмы пострадает, вот почему был изобретен способ извещать полицию, не привлекая внимания пассажира.

Если разыскиваемый преступник не относится к разряду «особо опасных», диспетчер говорит вместо «большой портфель» «маленький портфель» или «сверток». Очень хорошо понимая опасность радиотелефона, Рёскэ никогда не угонял машин, принадлежащих четырем токийским транспортным корпорациям. На такси небольших компаний, даже если в них и установлена радиосвязь с диспетчерской, работать было гораздо безопаснее. Да и потом, шоферы таких фирм привыкли полагаться не столько на заказы, передаваемые диспетчером по радио, сколько на собственный глаз, так что высматривать угнанный автомобиль им особенно некогда.

В диспетчерской выбранного Рёскэ гаража никого не было видно. Позднее, после двух, она наполнится вернувшимися со смены водителями, но пока здесь было тихо. У входа в гараж таксопарка всегда полно народу. В крупных компаниях дежурят специальные охранники, но они не могут знать всех шоферов в лицо, а проверять каждого входящего и выходящего не имеют возможности. В маленьких компаниях, где никаких охранников, конечно, нет, водителей и служащих все-таки тоже немало, и не все знают друг друга, чем Рёскэ и пользовался.

Он спокойно прошел через диспетчерскую и направился через двор к гаражу. Рёскэ столько лет проработал в такси, что ни его облик, ни походка у случайного наблюдателя не могли вызвать сомнений в том, что он шофер. И все же, шагнув в проходную, он испытал некий душевный трепет. За полгода он уже успел привыкнуть к этому острому ощущению, и теперь оно доставляло ему несказанное наслаждение. На случай, если его вдруг остановят, Рёскэ заготовил ответ:

— Ваш водитель, Судзуки его фамилия, мне должен

деньги. Он говорил, что его можно заставить в два ночи, на пересменке.

Фамилия Судзуки весьма распространена, очень возможно, что кого-нибудь из шоферов действительно так зовут. А таксисты вечно кому-то должны, и их в самом деле проще всего заставить на месте часа в два ночи. Если же здесь водителя Судзуки не окажется, у Рёскэ была в запасе отговорка:

— Странно. Неужели он опять уволился? Вечно он мечется с места на место... А как же я получу свои деньги?

Вряд ли служащий помнит фамилии шоферов, которые в фирме уже не работают, он наверняка только посочувствует Рёскэ. Таксисты, которые назанимают у всех денег, а потом увольняются и ищи их свищи, встречаются не так уж редко.

Но никто не остановил Рёскэ, и он беспрепятственно проник в гараж. Там стояло пять машин. Видимо, некоторые водители — те, кому сегодня повезло с выручкой или кто очень устал и заехал передохнуть, — уже вернулись в парк. Рёскэ внимательно осмотрел автомобили. Для такого опытного таксиста достаточно было одного беглого взгляда, чтобы определить, в каком состоянии находится машина и которая из них лучше подходит для его цели. Рёскэ остановил свой выбор на ухоженном, только что из мойки такси. Если машину уже помыли, значит, водитель закончил работу. Остальные автомобили стояли пыльные — стало быть, их рабочий день еще не кончился, то есть у них наверняка неполные баки, да и отдыхающий шофер в любую минуту может вернуться к своему автомобилю. А пропажа вымытой машины будет обнаружена, только когда придет сменщик водителя, закончившего работу.

Рёскэ сел в облюбованное им такси. Дверцы были не заперты, ключ зажигания торчал на месте. В принципе ключи полагалось сдавать в диспетчерскую, но когда в фирме много шоферов и машин, это создает лишнюю волокиту, поэтому на практике никто так не делает. Ждать сменщика,

который, может быть, сегодня вообще не выйдет, таксистам тоже неохота, и они всегда просто оставляют дверцы незапертыми и ключи в замке зажигания. Рёскэ все это было прекрасно известно.

Он дал газ, тихонько тронул машину с места и не спеша выехал за ворота. «Готово!» — подумал он, и по спине снова пробежала радостная дрожь, губы расплзлись в довольной улыбке.

Минуты через три Рёскэ уже знал все особенности автомобиля: и упругость акселератора, и специфику переключения передач. Каждая машина имеет свой нрав, а особенно работага-такси. У нее есть свои хворобы, и водитель, зная их как свои пять пальцев, дает указания ремонтникам, что и где надо исправить или отрегулировать. Незнание индивидуальных особенностей автомобиля может привести к аварии. Для обычного таксиста небольшая авария — не бог весть какая трагедия. Ну, заставят написать объяснительную, а фирма все уладит и починит. Но для Рёскэ попасть в дорожно-транспортное происшествие было бы катастрофой — сразу обнаружится, что машина угнана. От него требовалась максимальная осторожность в управлении автомобилем, чтобы, не дай бог, не угодить даже в самую ерундовую аварию. Ни в коем случае не мог он и позволить себе ссориться с пассажирами ни по какому поводу, ему следовало быть предельно вежливым и обходительным. Нельзя было также отказать ни одному клиенту в посадке. Таксистов чаще всего выгоняют с работы именно из-за жалоб такого рода. На первый и второй раз с них берут объяснительную, а на третий — без разговоров увольняют из фирмы. Таково правило, установленное Управлением наземного транспорта, и оно неукоснительно соблюдается.

Вам, наверное, приходилось видеть таких таксистов, которые отказываются сажать клиента в машину без дополнительной mzды, когда человеку, допустим, надо ехать ночью в какой-нибудь глухой район. Если такой клиент, обозлившись, запишет номер такси и пошлет жалобу в фир-

му, врачу недобровать. Рёскэ подобной выходки позволить себе тем более не мог. Он и в прежние времена никогда не опускался до такого свинства, чем всегда очень гордился.

Проехав минут пять по улицам, Рёскэ притормозил возле темного здания и снял водительскую карточку, висевшую сверху слева на ветровом стекле. Такие карточки Управление наземного транспорта выдает всем шоферам такси, и без них водить машину не разрешается. Там указаны имя водителя, его регистрационный номер и название фирмы, приклеена фотография и стоит печать управления.

Рёскэ достал свою фотокарточку нужного размера и приклеил ее поверх снимка водителя. Ничего не стоило подделать и всю карточку целиком, но это мог заметить чей-нибудь дотошный глаз, да и каждый раз стряпать новую фальшивку с названием очередной фирмы было слишком хлопотно, вполне хватало замены фотокарточки. Обычно пассажиры не обращают внимания на этот кусок картона, но иногда попадаются и любопытные, которые от нечего делать разглядывают карточку и могут заметить, что названия фирм на ней и на дверцах машины не совпадают, а подмена фотоснимка разом решает все проблемы. Вряд ли кто-нибудь заметит, что фотография наклеена поверх другой, да с заднего сиденья этого и не видно. Полгода промысла показали Рёскэ, что на сей счет он мог не беспокоиться. За рулем он всегда был начеку: внимательно следил за дорогой, старался не раздражать пассажиров и избегал лишних разговоров. Наверное, во всем Токио не удалось бы найти более вежливого таксиста. Обходительность была для него не только лишней мерой предосторожности — Рёскэ и самому доставляла удовольствие его благовоспитанность.

Часа три он развозил пассажиров, курсируя между различными значными местами большого города. Ночью у таксиста, конечно, меньше возможностей заработать, чем днем. Прохожих почти нет, значит, клиентов тоже немного. Изредка посчастливится найти пассажира, которому нужно ехать

куда-нибудь далеко, однако чаще всего такие заказы передают по радио из диспетчерской.

Но Рёскэ знал, где найти пассажиров и глубокой ночью. К тому же днем можно попасться на глаза «коллеге» по таксопарку, а в темноте никто даже не разглядел бы его номера.

За три часа Рёскэ обслужил больше десятка клиентов, счетчик нащелкал по ночному тарифу более десяти тысяч иен. Совсем неплохо.

Еще три-четыре часа, и тридцать тысяч будут в кармане, довольно подумал Рёскэ, поворачивая назад в город. Когда он отъехал километра на два от станции Синагава, перед машиной на проезжую часть, голосуя, выскочил мужчина с чемоданом. Это был молодой парень довольно бандитского вида, в черном костюме. У Рёскэ возникло нехорошее предчувствие, он хотел было объехать парня, но в последний миг решил не пренебрегать возможностью заработать и притормозил. Молодой мужчина рванул дверь и плюхнулся на заднее сиденье. Из внутреннего кармана пиджака он выхватил пистолет и приставил ствол к затылку Рёскэ.

— Сиди тихо и не рыпайся.

Парень пытался говорить страшным басом, но голос у него сорвался. «Грабитель!» — вздрогнул Рёскэ, но тут же успокоил себя: вряд ли его станут убивать. Обидно терять выручку, но жизнь дороже. Даже попытался мысленно подшутить над собой: жаль, что нельзя будет обратиться в полицию — у самого рыльце в пуху.

— Босс, скорее сюда! — крикнул парень, и к такси направились еще двое мужчин, прятавшихся в тени. Один из них, судя по всему, был ранен — второй вел его под руку. С трудом они уселись в машину.

— Трогай, и поживее! — приказал Рёскэ тот, который поддерживал раненого. — Гони в Акасака. И быстрее. Только смотри, чтоб патруль не сцапал.

Поняв, что грабить такси они не собираются, Рёскэ немного успокоился, хотя ощущение приставленного к затылку

пистолета было не из приятных. Ничего не попишешь, подумал он, придется делать все, как они хотят. А что касается патруля, то здесь их желание полностью совпадает с его собственным. Если вся эта команда попадет сейчас в руки полиции, Рёскэ тоже арестуют — за угон.

— Как вы, босс? — волнуясь, спросил парень с пистолетом.— Наломал я дров. Извините меня!

Второй гангстер, мужчина лет тридцати пяти, со злостью бросил:

— Тебя, суку, убить мало. Даже баранку крутить как следует не умеешь. Сматываться надо, а он машину — в столб! Такси из-за тебя ловить пришлось. Если боссу станет хуже, ты, зараза, будешь в ответе!

Раненый слабым голосом сказал:

— Не ори ты так. В рану отдает. Доедем до Акасака, у меня там врач знакомый. Такую ерундовую дырку он в два счета заштопает.

— Ну, босс, не ожидал я, что у этой швали окажется пушка. Я думал, как мы наставим на них стволы, они сразу в штаны наложат. А они — стрелять!

— За ними стоит банда Мурамацу. Поэтому и публика там собирается такая, что режется в маджан по тысяче иен за очко. Я как прослышал про такое дело, сразу решил: накроем эту лавочку и все деньжата цап-царап. Ну и пусть за ними ребята Мурамацу, эти-то обирали — мелочь пузатая. Я тоже хорош, от шестерок каких-то пулю схлопотать!

— Но, босс, монеты-то мы все-таки забрали. В чемоданчиках, поди, миллионов шестьдесят будет, а?

Прислушиваясь к разговору бандитов, Рёскэ понял, что они только что ограбили игорный притон. Видимо, якудза* прознала, что шулера-любители устроили подпольную игру, и решила их обчистить, а один из содержателей притона открыл стрельбу, ранив главаря гангстеров. Но выручка все же досталась налетчикам. Скорее всего, хозяева притона побоялись затевать настоящую перестрелку, чтобы не наделать

* Якудза — японская мафия.

лишнего шума. «Ничего себе — по тысяче иен за очко», — поразился Рёскэ. Наверное, там собираются одни богачи. Проиграешь десять тысяч очков — плати десять миллионов! Ничего удивительного, если в тех чемоданах действительно столько денег.

При мысли о том, что сзади лежат шестьдесят миллионов, Рёскэ вдруг разъярился. Да ему за всю жизнь не заработать и половины этой суммы. Будь у него столько денег, он мог бы не ломать спину и Масако училась бы сколько захочет.

В Акасака, под холмом Ногидзака, грабители велели остановить машину возле какого-то ночного клуба. Он уже закрылся, внутри не было видно ни души. Тем не менее трое бандитов, кажется, собирались войти. Однако главарю стало хуже, и идти сам он уже не мог.

— Эй, помоги мне, — сказал мужчина лет тридцати пяти парню. — Придется босса вдвоем вести. Один чемодан возьми с собой, другой пока оставь здесь. Потом за ним вернешься.

Он впился глазами в лицо Рёскэ и прошипел:

— Я твою рожу хорошо запомнил. Название фирмы и номер машины — тоже. Только попробуй легавым настучать — я тебя под землей достану. Пока вот он не вернется за вторым чемоданом, сиди тихо, понял?

Решив, что шофер достаточно запуган, гангстеры взяли своего босса под руки и скрылись в дверях ночного клуба.

Не успела за ними закрыться дверь, как Рёскэ дал полный газ. Не сбавляя скорости, он домчался до кладбища Аояма, остановил машину и достал с заднего сиденья чемодан. Потом вылез из автомобиля, захлопнул за собой дверцу и, пройдя на соседнюю улицу, остановил такси.

Только подъезжая к дому, Рёскэ наконец пришел в себя и, глубоко вздохнув, рассмеялся. Лицо-то, может, они и запомнили, но ни его имя, ни адрес им не известны. Все, что записано на карточке в такси, не имеет к нему ни малейшего отношения. В полицию эта братия жаловаться не станет, по-

кусает себе локти с досады — только и всего. А его в огромном городе им не найти. Ловко он их надул!

Вернувшись домой, Рёскэ тайком от Масако пересчитал банкноты. В чемодане, битком набитом купюрами по тысяче и по десять тысяч, оказалось более сорока миллионов иен.

Свои миллионы Рёскэ положил в несколько банков, и теперь, казалось бы, они с дочерью могли жить припеваючи. Он, конечно, не мог сорить деньгами из опасения встревожить Масако, но рисковать свободой, угоняя такси, больше было не к чему.

Три дня Рёскэ провел дома, но отдыха не получалось, он почему-то не находил себе места. На четвертый день он проснулся ровно в полночь и почувствовал, что больше дома без дела не высидит. Какое это было наслаждение — проходить через ночную диспетчерскую, выбирать из всех стоящих в гараже машин одну, садиться в нее и вырываться на волю! А кружить по городу, высматривая пассажиров, и думать: вот он, мой! Видно, мне на роду написано быть таксистом, подумал Рёскэ. Без этой работы, без этого напряжения нервов и сил я скисну, превращусь в старую развалину.

Он встал и пошел в пижаме на кухню варить кофе.

— Пап, ты чего? — высунулась из своей комнаты Масако.— Ты же собирался отдохнуть от работы.

— Собирался. Но, видать, без работы мне нельзя.

Вспомнив о лежащих по банкам сорока миллионах, Рёскэ, оправдываясь не столько перед дочерью, сколько перед самим собой, сказал:

— Да и нельзя долго отдыхать. Вредно для здоровья.

— Ну, тогда я приготовлю тебе поесть.

Рёскэ не спеша, как всегда, собрался, и дочка проводила его до двери. Поджидая на улице такси, он раздумывал: куда бы наведаться сегодня? На душе было хорошо, и он вдохнул ночную прохладу полной грудью.

Синъитиро Накамура

Дорога к замку

中
村
眞
一
郎

Дорога к замку

— Мама, куда мы идем? — спросила дочка, глядя на мать снизу вверх.

— Мы идем с папой, — ответила мать.

— Папа, куда мы идем? — спросила дочка теперь уже у отца, стараясь заглянуть ему в лицо.

— В одно хорошее место. Тебе не понять, — отрывисто бросил отец и, поджав губы, потянул ребенка за руку.

— Ну куда? Куда? — не унималась девочка.

— В очень хорошее место, — успокаивающе ответила мать настырной малышке, быстро взглянув на упрямо молчавшего мужа. Тогда девочка позволила родителям, державшим ее за обе ручки, вести себя дальше по людной улице. Никогда еще ее не выводили из дома в такое позднее время. Все было ей в новинку, и она шагала с папой и мамой, разглядывая освещенные витрины магазинов. Если их яркие огни загоразживал какой-нибудь прохожий, девочка выгибала шею, чтобы ни на минуту не терять из вида захватывающее зрелище. Вот она снова подала голос:

— Мама, я есть хочу!

Отец сердито взглянул на дочь.

— Сейчас не до того! — сказал он матери раздраженным тоном, в котором явственно слышалось: «Разбаловала дочку, совсем вести себя не умеет». Девочка почувствовала прозвучавшее в папиных словах осуждение, и ей стало жалко мать. Плаксиво сморщив личико, она посмотрела в мамино лицо, а та решила, что дочка плачет от голода.

— Надо покормить ребенка, бедняжка проголодалась, — все тем же примирительным тоном сказала она, робко глядя на мужа.

— Ладно. Вон булочная, купи ей там чего-нибудь. — Отец

остановился и тихо добавил: — Да, ты спроси, может, они знают дорогу в Замок.

Он быстро оглянулся на дочку, чтобы проверить, услышала ли она слово «замок». Девочка поняла: они идут в какой-то замок, но, не желая показать родителям, что все слышала, притворилась увлеченной чем-то на улице.

Они втроем вошли в булочную. Пока мама покупала булку, отец вполголоса расспрашивал продавца. Девочка видела, как его губы произнесли слово «замок».

— Какая хорошенькая! — воскликнула кассирша. — Скольте тебе лет, деточка?

— Пять, — ответила девочка и вдруг, ни с того ни с сего засмуцавшись, прижалась к матери.

Семья вышла на улицу.

— В общем, более или менее понятно, — сказал отец, остановившись посреди тротуара. — Надо идти прямо, а у светофора свернуть налево.

— Поскорее бы, а то уже темнеет.

— Чего спешить, теперь уж все одно, — с укором возразил ей отец.

— Мама, я пить хочу, — сказала дочка.

— Тут за углом парк, в нем был фонтан. Там и попьешь, — отозвался отец. Они вошли в небольшой сквер и сели на скамейку. Девочка вдруг почувствовала, что есть совсем не хочется, но, чтобы мама не беспокоилась, стала откусывать от булки.

— Не ешь быстро. Воспитанные девочки так не делают, — обругал ее отец, но было видно, что думает он о другом.

— Наверное, все-таки зря мы взяли с собой ребенка, — сказала мама.

— А я тебе утром говорил: давай оставим ее у бабушки, — сердито ответил отец. И, помолчав, негромко добавил: — Смотри-ка, совсем уже стемнело. Все фонари зажглись.

— А если мы сегодня не найдем это место, что тогда? — спросила мать.

— Будем идти всю ночь, — отрезал отец.

— Но как быть с ребенком?

Услышав мамин вопрос, девочка капризно сказала:

— Мама, я устала.

— Она на ногах с шести утра. Совсем вон сонная.

Мать посадила дочку на колени и обняла. Девочка зажмурила глаза, и вечерние огни зарыбились сквозь закрытые веки белым, зеленым и красным.

— Ничего, что мы дом так оставили? — прошептала мать.

— Да черт с ним, с домом. Мы уж туда не вернемся,— снова раздраженно прошипел отец.

— Мое вязанье так и осталось в гостиной...— как будто не слыша, продолжала мать.

— Ого, а это еще что такое? Смотри-ка, у меня в кармане ключ от двери. Весь ненужный хлам — на помойку, иначе нам никогда не найти Замка.

Ключ с плеском бултыхнулся в фонтан. Девочка вспомнила, что забыла напиться. Но открывать глаза было нельзя — мама с папой сразу же прервали бы свой разговор, и она продолжала прикидываться спящей. Прикидывалась-прикидывалась и уснула по-настоящему.

Открыв глаза, девочка увидела, что находится в незнакомой комнате с белыми, омытыми светом стенами.

— Это Замок, да? — спросила она.

— Что-о? — рассердился отец.— Как ты смела подслушивать разговоры взрослых!

— Но ведь она уже не маленькая,— вступилась мать.— Лучше ей обо всем рассказать.

— Давай-ка вставай. Мама тебя оденет.

Отец отошел к умывальнику, находившемуся в углу комнаты, и начал бриться. Мать поставила дочку на ноги и, застегивая на ее спине пуговицы платья, объяснила:

— Это еще не Замок. Замок мы сейчас пойдем искать.

Девочка обрадовалась — на нее надели ее самое любимое платье, а гулять целый день за руку с папой и мамой так здорово! Хорошо бы они искали этот Замок подольше.

После полудня семья вышла к шоссе, по которому непрерывным потоком с грохотом и лязгом катились тяжелые грузовики. Пешеходов здесь почти не было.

— Это же загород, милый,— встревоженно сказала мать.

— Верно. А Замок должен быть в центре города.

— Тебе вчера в булочной точно сказали свернуть налево?

— Ну конечно влево. Может, мы не у того светофора свернули?

Отец озабоченно сложил руки на груди и задумался. Девочка посмотрела на свои красные туфельки, и ей вдруг стало их жалко — такие они были пыльные.

— Да, делать нечего. Пошли назад,— решил наконец отец и зашагал в обратном направлении. Мать, держа дочку за руку, последовала за ним. Отец шел все быстрее и что-то бормотал себе под нос. Мама напряженно думала о своем и старалась не отставать. Девочка некоторое время покорно тащилась за ней, но потом остановилась и сказала:

— Больше не хочу идти.

— Подожди! — крикнула мать вслед отцу. Он обернулся и пожал плечами:

— Ну что ты с ней будешь делать!

Голос у него был непривычно тихий, и девочке это не понравилось. Уж лучше бы он кричал и ругался, подумала она.

— Возьми ее на руки,— приказал отец, и мать, молча подхватив дочку, догнала его. Не разговаривая, плечом к плечу, они пошли дальше. Постепенно женщина стала отставать, и тогда муж пересадил девочку себе на плечи.

— Говорят: «Замок тонет в золотых лучах заката». Наверное, надо идти на запад,— прервал молчание отец и свернул на одну из улиц. Перед глазами у девочки оказался огненно-красный шар, и она зажмурилась от нестерпимого света. Потом, сидя на плечах отца, она, кажется, уснула, потому что, когда снова открыла глаза, то была уже на руках у матери и смеркалось. Отец сидел на ступенях каменной лестницы, ведущей к запертым воротам.

— Опять неудача,— обратился он к стоявшей перед ним маме.— Я так верил, что мы на правильном пути, и снова тупик.

— Ничего,— пытаюсь ободрить его, сказала она,— мы найдем Замок, нам ведь теперь ничего другого не остается.

— Совсем я тебя замучил,— невнятно буркнул отец.

— Не думай об этом. Давай лучше еще раз все хорошенько продумаем. Мы были слишком легкомысленны.

Отец медленно поднялся на ноги и сплюнул на дорогу.

— У нас нет карты,— произнес он, как бы размышляя вслух.— Да и не будет Замка на карте-то...

— Но у нас есть воля. Если очень захотеть, желание непременно исполнится, хотя бы на это ушла вся жизнь,— продолжала утешать его жена.

— Это верно. Конечно верно...

— Ты вспомни, когда мы решили пожениться, было то же самое.

Тут в разговор вмешалась дочка:

— А когда вы еще не поженились, вы тоже были папа и мама?

Родители, переглянувшись, рассмеялись.

— Мы были детьми,— ответил отец.

— А я кто была? — снова спросила девочка.

— Ты тогда еще не родилась.

— А кто я была, когда еще не родилась?

Отец, не зная, что ответить, посмотрел на мать.

В этот момент из маленькой двери под фонарем появился молодой мужчина. Он подошел к отцу и тихо зашептал ему что-то на ухо. Мать встревоженно прижала ребенка к себе.

Лицо отца просветлело, их разговор с незнакомцем становился все более оживленным. Потом, достав из внутреннего кармана пиджака конверт, отец вынул из него пачку бумажек и отдал молодому мужчине. Тот отошел к фонарю и стал пересчитывать, а отец вернулся к матери и радостно объявил:

— Этот человек отведет нас в Замок.

— Правда ответит? — тревожно спросила мать, недоверчиво глядя на незнакомца, но тот обернулся и улыбнулся ей:

— Не беспокойтесь, сударыня. Я много раз отводил туда таких, как вы. Будете мне благодарны. И делаю я это не из-за денег.

— Так или иначе, мы не можем торчать тут вечно,— сказал отец.— Доверимся ему и идем вперед.

Молодой мужчина повел семью за собой. Они долго плутали по узким, безлюдным улочкам, в особенно темных местах проводник зажигал карманный фонарик.

— Туда можно попасть только в это время года. Самый лучший сезон, да и места там сейчас сколько угодно. Народ о Замке знает мало, а рекламой там не занимаются. Так что без такого проводника, как я, вам не обойтись...

Молодой мужчина не умолкал всю дорогу, и, слушая его веселый, уверенный голос, мать понемногу успокоилась.

— Мне неудобно, что я в таком виде,— сказала она проводнику.

— Ничего страшного. Там никто не обращает внимания на одежду. Да и потом, я вас отрекомендую честь по чести. Я там всех знаю, считайте, вам повезло. Без такого провожатого, как я, ночью этой дороги нипочем не найти,— хвастался мужчина.— Ну вот, уже почти пришли. Подождите меня здесь. Я пойду договорюсь,— объявил вполголоса проводник, когда они оказались у подножия какого-то холма. Наверху все было черным-черно. Девочка и ее родители стояли на обочине и смотрели в спину поднимавшемуся по дороге проводнику. Он вдруг остановился и обернулся.— Вот что, отдам я вам, пожалуй, свой фонарик. Когда наверху зажжется свет, это будет вам сигнал, что пора идти. Я встречу вас там. Сам-то я могу подняться и без фонарика, дорога знакомая,— громко крикнул мужчина и стал спускаться к подножию холма. Отец пошел навстречу и взял у него фонарик.

Потом семья долго ждала в темноте. В ночном безмолвии

атмосфера спокойной уверенности, которую создавала жизнерадостная болтовня проводника, постепенно исчезла, ей на смену пришло недоброе предчувствие.

— Все ли в порядке? — прошептала мать.

— Не знаю... Давай подождем еще немного,— ответил отец, мучительно вглядываясь в ночную темень.— Я отдал ему больше половины денег.

— О господи! — жалобно простонала мать. Испуганная ее криком, девочка, которая клевала носом и сначала не чувствовала напряжения родителей, заплакала.

— Не надо нервировать ребенка! — раздраженно рявкнул отец. Мать молча обняла девочку.

Они стали подниматься наверх, освещая путь фонариком. От долгого стояния на месте и нарастающей тревоги ноги были как ватные, а подъем казался бесконечным. Девочка, пригревшись на спине у матери, затихла. За два дня впечатлений и тревожных волнений она так устала, что не чувствовала собственного тела.

— Дорогой, мы уже наверху,— прошептала мать. Под ногами лежала ровная дорога, подъем кончился.

— Вроде да,— отозвался отец, и его голос словно растворился в ночной тьме.

— Посвети вокруг фонариком,— снова шепотом попросила мать.

— Сейчас.

Отец разрезал мрак лучом фонарика. Вокруг ничего не было.

— Какое-то поле!

— Да. Поле.

Ничего похожего на здание не было и в помине. Если напрячь глаза, можно было различить в темноте под ногами только полосу дороги, которая вела куда-то вдаль.

— Неужели он нас обманул? — спросила мать, в ее дрожащем голосе звучало отчаяние.

Еле волоча ноги, семья побрела через поле. Это было похоже на сон: переставляешь ноги, а с места не двигаешь-

ся. Время от времени отец светил по сторонам фонариком, но луч терялся в непроглядной тьме. Наконец он сказал:

— Делать нечего, переждем до утра где-нибудь здесь.

Пристроившись на обочине, семья приготовилась заночевать в поле. Холод пробирал до костей. Тепло было только девочке, которая крепко спала, прижав к материнской груди. Родители все говорили и говорили тихими голосами. Один раз, когда девочка заворочалась во сне, мать прижалась щекой к ее волосам. И она сквозь сон услышала, как отец тихо прошептал:

— Тяжело тебе со мной. Без тебя я бы пропал...

Прошло много времени, и девочка проснулась, потому что было уже светло. Она лежала на траве посреди широкого поля. Сверху на нее смотрел отец.

— А где мама?

Отец нежно обнял дочь и мягко сказал:

— Ну, пойдем дальше.

— А мама?

Он молча грустно покачал головой, и девочка поняла, что про маму спрашивать нельзя. Ей показалось, что за одну ночь отец как-то разом поник и состарился. Значит, мне надо быть веселой за двоих, решила девочка.

В этот день, когда они шли по дороге, отец рассказал ей о многом. Главная их цель — найти Замок, конечно, очень важна, говорил он, но не менее важен и сам путь, которым они идут к этой цели. Дочь чувствовала, что он обращается не столько к ней, сколько к исчезнувшей матери. И еще ей показалось, что сама она стала гораздо старше. Больше девочка о матери не спрашивала: она поняла, что есть вещи, о которых не говорят.

Через какое-то время она вдруг заметила, что они вышли на ту же улицу, по которой шли в первый день путешествия.

— Папа, та же самая улица! — закричала девочка, дергая отца за руку. Он огляделся по сторонам и с сомнением ответил:

— Да? Что-то я не припоминаю.

Девочка еще раз почувствовала по неуверенному тону отца, как он постарел. И нарочно громко, чтобы подбодрить его, продолжила:

— Вон та булочная, где ты спрашивал дорогу. Помнишь?

— Булочная? — переспросил он, безуспешно пытаюсь вспомнить.

— Да вон же, смотри, — показала она пальцем. За стеклом булочной девочка увидела ту самую кассиршу, которая назвала ее «хорошенькой деточкой».

— Здравствуйте, тетенька, — крикнула она, заходя в магазин.

— Добро пожаловать, — ответила кассирша.

— Вы помните, как мы у вас покупали булку? — спросила девочка.

— Правда? Когда же это? — удивилась женщина.

— Ну как же! Я стояла вот здесь, рядом с мамой... — стала объяснять девочка.

— Ах, та самая девчоночка! — поразились кассирша. — Как же ты выросла! Тогда тебе было... пять лет, точно? А где же твоя мама?

Девочка, не зная, что ответить, посмотрела на отца, а он молча взял ее за руку и вывел на улицу. Со страхом она взглянула на свое отражение в стеклянной двери и увидела перед собой девочку лет десяти. И ничего удивительного, подумала она, ведь папа так постарел. Да и воспоминания о матери уже потускнели, стерлись. Они с отцом пошли дальше, и было уже неясно, кто кого ведет за руку — мужчина девочку или девочка мужчину.

Прошло еще много времени — не то несколько часов, не то несколько лет, — и отец с дочерью оказались у дверей огромного здания, похожего на склад.

— Ну вот наконец и наш Замок, — сказал отец. — Как бы была счастлива твоя мать. Жаль только, слишком поздно.

Девочка — нет, уже почти совсем взрослая девушка, — вздохнув полной грудью, возразила ему:

— В жизни ничто не приходит слишком поздно, папа. Не грусти.

— Да, ты права,— ответил отец.— Ну, подожди меня здесь. Пойду узнаю, как тут и что.

— Папа, дай я тебе воротник поправлю.

Девушка внимательно осмотрела отца, где-то что-то пригладила, расправила, и он, ссутулившись, вошел в здание, в стенах которого не было ни одного окна.

Дочь проводила его взглядом и, повернувшись лицом к улице, огляделась вокруг. На тротуаре дети играли в камешки, через дорогу, в тени дерева, шептались о чем-то влюбленные, поодаль, у речки, сидели с удочками рыболовы.

— Ты что тут делаешь? — раздался сзади звонкий молодой голос. Обернувшись, девушка увидела крепкого, спортивного юношу, который, широко расставив ноги, стоял на тротуаре и весело ей улыбался. Она почувствовала неожиданное смущение — у него были такие ясные, полные света глаза, казалось заглядывавшие ей в самую душу.

— Я жду отца.

— А где он?

Прислонившись к стене здания, они начали разговаривать. Юноша громко расхохотался:

— Замок? Ну, умора! Да нет на свете никакого Замка!

— Ты оскорбляешь моего отца! — воскликнула девушка, и ее глаза наполнились слезами. Ей так понравился этот юноша, но теперь она была готова его возненавидеть. Увидев у нее на глазах слезы, парень сразу посерьезнел:

— Прости меня, пожалуйста. Я и не думал никого оскорблять. Просто, по-моему, незачем тебе, такой молодой, дурить себе голову нелепыми фантазиями.

— Да отец всю жизнь ищет этот Замок! Мы столько шли, столько шли...

— Но это — его жизнь. А ты имеешь право жить по-другому, как захочешь. Поехали со мной кататься на яхте. Для нас, молодых, лучше моря ничего нет!

Девушка вытерла слезы и отрицательно покачала головой:

— Нет, я не могу бросить здесь отца одного.

Сказала и подумала: все, теперь я этого юношу никогда больше не увижу, и ее сердце пронзила щемящая боль. А парень вдруг взял ее крепко за руку и предложил:

— Тогда вот что. Иди внутрь и разыщи отца. Все лучше, чем ждать здесь неизвестно сколько. Я подожду.

Девушке стало вдруг очень легко. Ее заплаканное лицо осветила благодарная улыбка, и она ответила на пожатие его руки. И бегом бросилась к дверям здания.

Внутри было сумрачно. Сбоку от входа, над стойкой, виднелась белая табличка с надписью «Регистрация», но там никого не было. Наверх вела лестница, и девушка стала подниматься по ее деревянным ступеням, опираясь рукой на истертые перила. Подъем кончился стеной, а выше начиналась новая лестница. За ней снова стена — и новый пролет. И еще, и еще. Девушка упорно поднималась выше, выше. Она чувствовала, что с каждой ступенькой все дальше отдалается от ждущего ее снаружи юноши. Ей уже начинало казаться, что никакого *снаружи* вообще не существует. Есть только эта бесконечная лестница, и больше ничего. Но наконец девушка оказалась перед какой-то дверью. Она медленно провела рукой по ее деревянной поверхности, потом приложила ухо и прислушалась.

Ей показалось, что она слышит людские голоса, точнее, только голос отца. Такой знакомый, он с гордостью рассказывал кому-то о ней, его дочери. Было ясно, что рассказчику никогда не надоест говорить на эту тему.

Девушка улыбнулась и толкнула створки.

— Папа! — ласково позвала она, и, нажав сильнее, приготовилась переступить порог — и чуть не упала, еле успев ухватиться за ручку.

За дверью ничего не было — ни комнаты, ни стены, ни неба. Пустота. Девушка смотрела в Ничто. Пустоту невозможно даже увидеть, пронеслось у нее в голове. И она знала, что, обернувшись, не увидит лестницы, которая привела ее сюда.

Содержание

5 *Н. Т. Федоренко*. Навстречу судьбе

15 Кэндзи Маруяма

Течение лета
Наш выходной
В снегах

121 Ясуси Иноуэ

Потоп

141 Дзюнъити Ватанабэ

Фонендоскоп

171 Такако Такахаси

Любовь к кукле

203 Сёхэй Оока

Засада

219 Дзиро Икусима

Таксист

239 Синъитиро Накамура

Дорога к замку

Д 69 Дорога к замку: Рассказы/Пер. с японск.
и сост. Г. Чхартишвили. Предисл.
Н. Т. Федоренко.— М.: Известия. 1987.—
256 с. (Библиотека журнала «Иностранная
литература»)

Девять рассказов японских писателей послевоенного периода,
посвященные самым разнообразным темам, объединены общим
стремлением их авторов — понять, в чем смысл человеческой жизни.

Д $\frac{4703000000-040}{074(02)-87}$ 67—87

ББК 84. 5Я
И (Яп)

ДОРОГА К ЗАМКУ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *И. Тогоева*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Т. Старостина*

ИБ № 1174

Сдано в набор 06.06.86. Подписано в печать 15.12.86. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,4. Усл. кр.-отт. 21,1. Уч.-изд. л. 10,9. Тираж 50 000 экз. Заказ № 630. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Кэндзи Маруяма

(род. в 1943 г.).

Лауреат премии Акутагава. Автор романов "Умереть в расцвете", "Горная чайка", а также повестей, рассказов и эссе. На русский язык переводится впервые.

Ясуси Иноуэ

(род. в 1907 г.).

Работает в литературе с 1930 г. Член Академии искусств, президент японского Пен-клуба, лауреат премии Акутагава. В Японии дважды выходили собрания сочинений писателя — 26- и 32-томное. На русский язык переведен исторический роман "Сны о России", а также новеллы и рассказы.

Дзюнъити Ватанабэ

(род. в 1933 г.).

В прошлом — хирург, доктор медицинских наук. С 1968 года живет литературным трудом. Лауреат премии Аоки. Пишет в основном на медицинские темы. На русский язык переведен роман "Свет без тени".

Такако Такахаси

(род. в 1932 г.).

Вдова известного японского писателя и китаевода Кадзуми Такахаси (1931—1971). Автор многочисленных эссе, литературоведческих статей и рассказов.

Сёхэй Оока

(род. в 1909 г.).

Писатель "сэнгоха" ("послевоенной группы"). Лауреат премий Нома Хироси, издательств "Майнити", "Синтё" и др. Автор романа "Огни в поле", исторических и автобиографических повестей.

Дзиро Икусима

(род. в 1933 г.).

Лауреат премии Аоки, главный редактор журнала "Куин магазин". Автор романа "Желтые пороги", повестей и рассказов. На русский язык переводится впервые.

Синъитиро Накамура

(род. в 1918 г.).

Писатель "сэнгоха". Автор романов "Под тенью смерти", "Дочери Сиона", "Бог любви и бог смерти", пьес, стихотворений и литературоведческих работ. На русский язык переведена повесть "Далекое прошлое" и рассказ "Оживший страх".